

Александр Пятигорский Вспомнишь странного человека...

Александр Пятигорский

Вспомнишь странного человека...

Новое литературное обозрение
Москва

Александр Пятигорский

Вспомнишь странного человека...

Роман

ISBN 5-86793-060-2

© А. Пятигорский, 1999

© Художественное оформление. "Новое литературное обозрение", 1999

Людмиле Стоковской с любовью.

Предисловие о временах

Сначала — о первой части моего второго романа*. Его главное отличие от первого («Философия одного переулка») в отношении моей жизни состоит в том, что в нем я начинаю действовать в середине 1940-х и кончаю (да пока еще и не кончил) в начале 1990-х, в то время как те, о ком я рассказываю, начинают это делать в начале 1900-х и, кажется, уже закончили свое существование — и уж во всяком случае, действие — к началу 1960-х. В первом же романе мое действие начинается в середине 1930-х и кончается в начале 1980-х, а действие моих собеседников начинается, в основном, лишь немногим раньше моего и заканчивается вместе с моим. Да что за разница — возразите вы, — какие-то двадцать лет в обе стороны! Разница огромная. Она — в восприятии нами времени. За одно последнее десятилетие давление исторического времени на наше сознание настолько понизилось, что многие из нас серьезно заговорили о конце истории, конце культуры и чуть ли не конце времени — обычный рефлекс заключенного, получившего временное облегчение или переведенного из одной тюрьмы в другую, более просторную. Ну это понятно, одурачить можно кого угодно, в особенности если ты сам хочешь быть одураченным.

Это изменение в восприятии нами времени имеет, однако, и одно положительное последствие: мы стали внимательнее к своему внутреннему времени, времени нашего мышления, переживания и опыта.

Первая часть этого романа и есть экспозиция такого внимания к своему индивидуальному, так сказать, времени, для меня едва ли возможная еще и пять лет назад. Две последующие части являют-

* Эта часть была опубликована в «Urbi», 1995, с. 7—38.

ся лишь приложением и развитием принципа экспозиции внимания к времени, введенного в первой. (Поэтому, а также в силу известной сюжетной самостоятельности первой части, я и решился издать ее отдельно, до того как закончу весь роман.)

А. Пятигорский
Лондон, январь 1992 г.

Предупреждение об именах

Тут, разумеется, будет затруднение с именем. И действительно, как же его назвать, если с первых же шагов человек сам лезет в символы.

Б. Пастернак. Повесть

Мое имя никак не может быть замешано в этом деле, ибо у меня нет настоящего имени.

Луи Пауэлл

Чтобы облегчить читателю (и себе самому) восприятие того, что происходит в романе, я предупреждаю его о следующем.

Первое. Лица, хотя бы раз по ходу романа названные по фамилии, либо существуют (или существовали) в жизни вне романа, либо столь же определенно там не существуют и никогда не существовали. Фамилия здесь употребляется как знак определенности существования или несуществования ее носителя и, одновременно, как знак читательской альтернативы — признать или не признать этого носителя существующим вне романа. Так, например, человек, фигурирующий здесь как Андрей (или Андрей Яковлевич) Сергеев, либо есть (был) в жизни подлинным лицом с такой именно фамилией, либо не был. В последнем случае — и здесь я позволю себе быть вполне категоричным — если даже отыщется его тезка и однофамилец, то это решительно будет не он, а совсем другая личность, к этому, по крайней мере, роману никакого отношения не имеющая. Такова сила навязанной читателю альтернативы.

Второе. Лица, названные в романе только по имени или имени-отчеству, не имеют никакой определенности в отношении их существования вне романа. Читателю (как и мне самому) оставляется полная свобода думать о них как о существующих или несуществующих, либо как существующих и несуществующих вместе, либо, наконец, вовсе не думать о них в отношении их существования вне романа. То же относится и к лицам, названным по их профессии, черте характера или любому другому индивидуальному признаку. Поэтому если кто-то обозначен здесь как «премьер», или «еврей», или «Михаил Иванович», то занятие одного и племя другого, и имя-отчество третьего будут равно фигури-

ровать не только как знак гораздо большей, чем в первом случае, литературной фиктивности персонажа, но и как знак авторского намерения эту фиктивность как можно более подчеркнуть. Это, однако, ни в коей мере не исключает возможности совпадения конкретного, невыдуманного лица или исторической фигуры с таким бесфамильным, так сказать, персонажем, за что, разумеется, автор не собирается нести никакой ответственности — как, я надеюсь, и само это лицо, живое или мертвое.

Третье. Приведенное здесь объяснение употребления фамилий в одном случае и их неупотребления в другом пришло мне в голову, когда роман был написан уже более чем наполовину и поздно было что-либо менять. То, что бездумно употреблялось мною как маньеризм, стилистический трюк или просто ради красного словца, только задним счетом оказалось осознанным как основа для интуитивной классификации персонажей по признаку имени. Но ведь имя, только вступив в особую связь обозначения с поименованным, становится личным, а сам поименованный — личностью. И это так, вне зависимости от действительности их, имени и лица, совместного существования. В этом смысле выдуманный персонаж может оказаться личностью, а действительно существующее лицо может ею не оказаться. Последнее положение — по своей сущности, конечно, гностическое — не может мною быть ни доказано, ни подтверждено ссылками на источники. Вот, пожалуй, и все об именах.

А. Пятигорский
Лондон, январь 1993 г.

Заключение о временах и именах

Здесь не место говорить о цели и удаче (или неудаче). Закончив роман (в последний раз!), я увидел, что самое главное — не стягивать все время на к своему, и все имена к твоему (предупреждение о «полной поименованности» сохраняет свою силу и в отношении автора романа) — не удалось. Наверное, и не могло бы удаться.

А. Пятигорский
Лондон, декабрь 1997 г.

Часть первая

Это время

...Возможно, что есть разум, один для всех, разум, на который все мы направляем взгляд, каждый из своего тела, — как в театре, где каждый зритель смотрит из своего места на сцену, одну для всех...

Марсель Пруст

Глава первая

Для самого себя

Это хотя и значилось по ведомству прошлого, но замечалось в настоящем и предназначалось для возможного употребления в будущем.

Луи Пауэлл

Это — для самого себя. Чтобы избавиться от ассоциаций. От связей с ситуациями, которых не переживал, с эпизодами, свидетелем которых не был.

Елена Константиновна Нейбауэр была товаркой моей старшей тетки Эсфири Григорьевны по Бес-тужевским курсам. Она увлекалась антропософией, была горячей почитательницей Рильке, страстной поклонницей Скрябина и приятельницей Андрея Белого. Она прожила революцию, «малые» чистки двадцатых и великие тридцатых, имея обо всем примерно такое же представление, как я сейчас о Рильке, Скрябине и Белом. В конце войны, кажется в январе 1945-го, она явилась к моей тетке с просьбой вернуть ей взятую за десять лет до того книгу Анатоля Франса «Под вязами» (в промежутке между двумя этими датами она пребывала в относительно мягкой ссылке в Кунгуре, что спасло ее от лагерей 37 — 38-го и высылки лиц немецкого происхождения 41-го). Тетка не приняла ее, если такое выражение вообще возможно, когда речь идет о «квартире», отгороженной фанерной перегородкой от КВАРТИРЫ с проживающими там тридцатью шестью лицами, одной уборной и двумя умывальниками. Проклятый холодный ад! Место, где люди три битых года спали не раздеваясь. Тетка сама мне рассказала об этом «крайне несвоевременном, прямо-таки досадном» посещении Елены Константиновны и добавила, что та считалась в 20-х лучшей наездницей (о ангелы небесные!) Москвы, — «вот и доскакалась со своей антропософией!»

Ранней весной 1945-го я ехал на подмосковной электричке и услышал позади себя разговор. Обрывок истории, рассказанный очень высоким мужским голосом, почти фальцетом: «Чудо, но дача оставалась нашей до осени 41-го, когда там устроили пункт противовоздушной обороны». Затем, от-

вечая на невнятный женский голос: «Кто — он? Никогда! Да нет, я никого из них не видел, по крайней мере, с 21-го... Нет, нет, послушай, меня тогда отец отвез к ним на дачу. Летом 11-го. Я был страстно влюблен в кузину Аленушку... ну, разумеется, ты и не могла о ней слышать. Дядя Вадя имел обыкновение наезжать по субботам. Я помню, как все с нетерпением ждали его — он никогда не являлся без подарков. Мы с ней стояли у калитки, на ней был венок из ромашек, и всякий раз, когда она очаровательно встряхивала своей головкой, лепестки осыпались, и я на коленях подбирал их и клал себе на грудь, под рубашку... Ну да, я тогда его в первый раз и увидел. Он поцеловал Аленушку, потрепал меня по щеке, положил на траву бонбоньерку с шоколадом и прошел в кабинет к ее отцу. «Какой чудесный, элегантный, праздничный человек!» — вскричал я. А она сказала, глядя на красное закатное солнце: «Дядя Вадя — предатель. Он — предаст».

Сразу же, в самом начале этого рассказа, я угадал, что Аленушка — это Елена Константиновна моей тетки. Нет, не вывел, не вычислил, а словно заранее знал, что речь пойдет именно о ней. Но дядя Вадя! Смешливый, источающий смешанный аромат сигары и коньяка — предаст? Кого? Кому? Зачем? Не оборачиваясь, я вышел из вагона и, хотя и был слегка возбужден своим маленьким открытием, вскоре вовсе забыл об этой сцене.

Когда через десять лет, весной 1956-го, тетка сказала мне, что Елена Константиновна умирает в Первой Градской от четвертого инфаркта и что совсем неплохо было бы ее навестить, то я немедленно туда отправился. И не из человеколюбия вовсе, а из непреодолимого любопытства — выяснить обстоятельства подслушанного в вагоне разговора. «О, как прекрасно, что вы пришли! И не поразизи-

тельно ли, что теперь, когда астральное тело рвется к освобождению от своей обветшалой оболочки, меня стали посещать не прежние мои компаньоны по грубому планетарному существованию — они ведь все почти ушли, забыли или забыты, а совсем новые и с этой моей не очень удачной экскурсией по земле не связанные молодые люди. Впрочем, — и она, видимо, уже устав от длинной фразы, откинулась на подушки, — впрочем, кому не ясно, что это — элементарная забота провидения. Ведь ушедших я и так очень скоро встречу, а вот вас, например, совсем еще неизвестно — когда. Да и где? Вы ведь человек из другой жизни — и после ухода отсюда придете, наверное, совсем не туда, куда совсем уже скоро отправлюсь я».

Я родился с привычкой врать. Почувствовав, что меня вроде приняли за своего (хотя и из другой жизни), я заговорил словами и тоном человека, принятого в ее круге, и вообще — принятого. «Бог мой, — начал я, стараясь, чтобы не попасть впро�ак, выразаться как можно менее определенно, — Бог мой! Многим ли из вашего поколения дано было дожить до военных лет, а куда уж там пережить их. Всякое, конечно, случалось. Не странно ли, ума не приложу, почему мне сейчас пришла на память вся эта старая история с дядей Вадей. А ведь когда это было! Но согласитесь все-таки, что он был замечательная фигура. Да еще этот ваш бедный кузен — забыл его имя. Я ведь почти ничего не знаю. Так, обрывки какие-то».

Пока все шло как нельзя лучше. «О, Кирилл, — произнесла, несколько не удивившись моей «осведомленности» Елена Константиновна, словно возражая мне или другому, невидимому, но вечно присутствующему собеседнику. — Но зачем же возвращаться к Кириллу? Он прожил и пережил все, что

ему было определено, но был совершенно бессилён добавить к этому хоть что-нибудь от себя. Ну как Брюсов в поэзии. Провидение осталось к нему равнодушным. Когда я закрываю глаза, я не вижу Кирилла Эльвермеля. Я вижу дядю Вадю и Михаила Ивановича, Сатану и Ангела».

«Ну, полно вам, милая Елена Константиновна, — развязно возразил я, уже опасаясь, что, по мере ее разрешения, задача с двумя неизвестными превращается в задачу по крайней мере с тремя. — Да и не было ли с вашей стороны предвзятости в отношении к дяде Ваде в этой истории?» — «Нет, — твердо сказала Елена Константиновна, — мне еще не было и пятнадцати лет, когда я точно узнала, что он решил предать всех нас Духу Трансцендентального Зла во имя конечного торжества Света в падшем космосе. Света, который несет Люцифер. На свете не было человека доблестнее Михаила Ивановича, но и он однажды папе признался, что всякий раз, когда ждет прихода Вадима Сергеевича, втайне надеется, что тот не придет». — «Но не был ли сам Михаил Иванович... ну... немного авантюристичен?» — решил я рискнуть в последний раз, уже серьезно боясь, что беседа устремляется в бесконечность — и, чтобы разрешить ее, мне придется последовать за Еленой Константиновной в «ее» другой мир. «Да, безусловно, — неожиданно согласилась Елена Константиновна. — Но он всегда действовал на свой страх и риск. Никогда ни на кого не опирался и никого не подводил. А за дядей Вадей всегда что-то стояло, мягкое и ненадежное. Но дело не только в дяде Ваде. Уже маленькой девочкой я почувствовала, как атмосфера предательства сгущается, концентрируется в людях, и они становятся предателями. Не потому, что хотят, а потому, что могут ими быть. И ни в ком я этого так сильно

не чувствовала, как в нем. При этом, однако, он сделал немало добра разным людям».

В те годы я еще не коллекционировал «случаев для понимания», но история с дядей Вадей — какая именно, я тогда так и не узнал — засела в памяти. Позднее я стал себя спрашивать, а не является ли повышенная чувствительность к предательству (так же как и способность его предвидеть) одним из условий его возникновения? Не лучше ли было вовремя отойти в сторону и не предвирать определений судьбы своими односторонними и пристрастными решениями? Но поскольку дело уже было вроде сделано и не о чем, пожалуй, было больше говорить, то оставалось разве что поставить точку на эпизоде в электричке и вновь отдаться впечатлениям еще не законченной бездумной юности.

Но возвращаюсь к предательству. Окончателность решения, вынесенного девочкой в дачном поселке, хрупкой и нежной, обернулась для меня в дачном поезде через тридцать пять лет вопросом о его, решения, непререкаемости. Но в том-то и дело, что тогда, в поезде, никакого вопроса не было, а была одна чистая непререкаемость. Но опять же, когда это о жизни и смерти — твоей собственной, в первую очередь, — то не очень-то поперерекаешься. Приходится ждать, пока это, то есть предательство, не станет для тебя метафизической проблемой. Ну я и ждал. А когда дождался, то увидел, что для Аленушки оно с самого начала и было метафизической проблемой, каковой и оставалось до конца: дядя Вадя или не дядя Вадя. Так что, казалось бы, не было ни малейшего резона допытываться, кто и что предал. Но тут-то и сказалась моя врожденная неспособность понять что-либо абстрактное без конкретного образа, каковая — вкупе с врожденным же нездоровым любопытством — и побу-

дила меня к возобновлению поисков фактов и обстоятельств касательно Вадима Сергеевича.

В запасе, конечно, всегда оставалась возможность разыскать после смерти Елены Константиновны вышеупомянутого влюбленного кузена. Но почему-то — не помню сейчас почему — тогда я этого не сделал, а вместо того потратил бездну времени в праздных размышлениях о том, кто бы мог быть дядей Вадей. Выручавшая меня всю мою жизнь неспособность идти к цели прямым путем проявилась также и в том, что я стал размышлять и об антипode (по словам Елены Константиновны) Вадима Сергеевича, то есть о некоем Михаиле Ивановиче, рыцаре и ангеле. Хотя его-то я решил попридержать, как козырную карту, чтобы сыграть под самый конец... Конец чего? Знал ли я в середине пятидесятых, что выпрыгнет он, как заводной чертик из коробочки, в мир моей памяти еще через двадцать лет?

Хорошо. Я мечтаю о совершенно мне недоступной прустовской точности и хочу скорее перейти к делу, всякий раз забывая, что дело-то — это я. В 1966-м, на поминках по матери моего приятеля и сослуживца Егора Дрейнера (настоящая фамилия его отца, эльзасского барона, была Де Рейнер), я увидел на дряхлом комодe, перед зеркалом, коричневую фотографию красивого молодого человека с гладко выбритым американским (почему американским?) лицом и надписью «ВСХ!». «Вадим Сергеевич!» — не удержавшись, вскрикнул я. Но Егор строго меня поправил, объяснив, что если после инициалов стоит восклицательный знак, то они, естественно, обозначают того, кому подарено фото, а не того, кто его подарил, и добавил, что это — портрет Михаила Ивановича на память Вадиму Сергеевичу. Они в юности ухаживали за его матерью.

«Но где они сейчас?» — «Не знаю. Михаил Иванович полностью исчез в конце 17-го. Куда — никто не знает. Так мама мне говорила. Вадима Сергеевича я помню, хотя смутно. Он к нам захаживал перед войной, кажется... Нет, вспомнил! Он пришел к нам летом 33-го, в день моего рождения, с коробкой торгсиновских конфет «Французский набор». Мама говорила, что он ее старше на восемь лет. Так что теперь ему было бы 80».

«Итак, — попытался суммировать я, — Михаил Иванович не мог считать Вадима Сергеевича предателем, а то бы он не подарил ему своего фото, не так ли?» Егору, однако, это соображение показалось крайне нелепым. Он терпеливо (как библиограф) стал мне объяснять, что нет, ну конечно же нет, ни о каком предательстве не могло быть и речи, хотя... и здесь он почему-то замолчал и стал внимательно рассматривать портрет, словно в первый раз его увидел.

Гости расселись за огромным дубовым столом, занимавшим чуть ли не половину маленькой столовой в квартире Дрейнеров в Бескудникове. Егор разливал напитки, а две очень старые подруги его матери обносили гостей кутьей и салатом из крутых яиц с ветчиной. Я вышел покурить на лестничную площадку, и тут Егор, на мгновение высунувшись из двери, быстро проговорил: «Ну я не знаю, что ты обо всем этом знаешь, но сейчас мне вдруг вспомнилось, что, когда мы вернулись из эвакуации, мама сказала, что очень боится посещения Вадима Сергеевича и что лучше бы он о нас забыл. Но... он все-таки заглянул разок и, не застав нас дома — мы тогда еще жили в коммуналке у Красных Ворот, — оставил у соседей этот портрет для мамы».

Глава вторая

У кузена Кирилла

Une vérité bouleversante, c'est une côte de la vérité.

Louis Powell

Кузен Кирилл сидел прямой, как доска, на железной кровати и явно обрадовался приходу незнакомых посетителей. Мы назвали себя, и он сразу же, не дожидаясь разъяснений, быстро заговорил тем же высоким, сухим голосом, знакомым мне по эпизоду в электричке ровно двадцать лет назад: «Ну да — пневмония. Чистая случайность — дураки поставили правильный диагноз. Я категорически отказываюсь от антибиотиков. Выбрасываю их в унитаз. Надеюсь, что и на этот раз мой еще не до конца изношенный организм справится сам. Ведь я еще почти молод — 68 лет. Я недавно сделал формальное предложение одной молодой особе. Ей 32 года, и у нее две девочки, которых я согласился воспитывать». Ко мне: «Кстати, коллега, вы не сын Леонида Абрамовича?» — «О, нет!» — «Тогда, может быть, Григория? (Тоже — нет, не без некоторого сожаления.) У нас много свободного времени. Моя невеста, Анна Васильевна, не придет раньше шести».

Затем, когда я изложил, с некоторыми преувеличениями, историю моего знакомства с его кузиной, он продолжал: «Елена Константиновна — божественное существо, но — дура страшная. Дура до смерти. Время ее не останавливало... («Замечательно сказано», — с восторгом прошептал мне в ухо мой спутник Шлепянов.) Она никогда не смотрела на часы, совсем как мой покойный профессор Каблуков. Он смотрел на часы, только когда его спрашивали, сколько ему лет. Потом эта его манера ошибочно приписывалась покойному Ивану Соллертинскому, что вздор! Иван всегда знал, который час. Рад вашему приходу. Мне категорически не с кем говорить. Если бы Елена Константиновна вышла за меня замуж, то я был бы ей свято верен до самой ее смерти. Даже любовницу не завел бы ни

разу. Хотя, коллеги, кто из нас себя знает? Да и других? Так вы, значит, от Егора. Он — Иванушка-дурачок из сказки, со временем превратившийся в закоренелого дурака всей семьи Де Рейнеров. Отец, Георгий, был дурак исключительный, да и брат отца, Осип, — тоже. Хотя дурак-дурачок, а владелец шести фабрик в Сиэттле, штат Вашингтон. Это, коллеги, сугубо между нами. О таких вещах и сейчас следует упоминать с опаской. Он, говорят, жив еще, а если и умер, то, по крайней мере, не как его брат, задохнувшийся в собственных экскрементах в Саратовской пересылке. И женат на известной голливудской актрисе. Когда в 21-м дядя Вадя стал страдать от... (Я замер: и спрашивать оказалось ненужным.)

Но это — совсем другая история...»

Он явно устал. «Вадим Сергеевич, — решился я, — в 21-м стал страдать от отсутствия сигар, не правда ли?» — «Извините меня, коллеги, — он вытянулся на постели. — В сигарах, насколько мне известно, у него никогда не было недостатка. Тогда он их регулярно получал от Левенталья, из Риги. О, Левенталь был полный дурак, связался с этим бандитом Петерсом. Да нет, не с Петерсом, а с Данишевским. Ну тот-то был дурак патологический. Инстинкт самосохранения всегда заменял в Вадиме Сергеевиче все прочие инстинкты. Когда Чека пришли брать Кузьму Сакеловича, то, говорят, в тот день Вадим Сергеевич к нему с дачи приехал. Сидел, пил чай. Потом вдруг встает и говорит Кузьме, что надо ему срочно к Мнушкину сходить постричься, прическу сделать. Возвращается и — здрасьте. Дверь опломбирована. Ни Кузьмы, ни саквояжика Вадима Сергеевича с дюжиной гаванских регалий. Тогда он на извозчике через всю Москву — на Рогожскую, к Соломону Минцу, который контрабанду

держал. Доехал, а на двери-то у Минца тоже — печать и пломба. Так он, коллеги, оттуда — на Селезневку, к Андрею Андреевичу Горшунову; они еще студентами вместе в винт играли в арбатской компании Сергея Васильевича, когда тот в Большом дирижировал. Взял у Горшунова полдюжины сигар, от него к нам явился ужинать, а к себе на дачу в тот вечер не вернулся. Сказал, что на свою опломбированную дверь он и завтра наглядеться успеет. Там у него, говорили, сто коробок сигар лежали на чердаке в мокрых опилках, чтоб не пересыхали».

Сейчас, вспоминая об этом, я слышу несхваченную мною тогда интонацию. Голос вечного победителя в трехкопеечных схватках с жизнью, чемпиона кухонных перебранок, гения памяти на тривиальности чужих существований. «Жалкий субъект, — прошептал мне в ухо Шлепянов, — но он знает схему своей жизни». А что остается мне, жалкому наблюдателю чужой схемы, не заметившему, как потерял свою? Но хватит, хватит! Пора кончать с кузеном, его дядей и всем этим. Итак, последний вопрос: могли Вадим Сергеевич в то именно время, осенью 1921-го, уехать, или было уже поздно, непоправимо поздно?

«Я думаю, что мог, — убежденно сказал кузен Кирилл. — Как — не знаю. Он мог, но не хотел. Всегда делал, как ему лучше. К концу 22-го не осталось почти никого из связанных с ним людей в Москве. Последними, уже в ноябре, взяли Горшунова и Багратова. Мы тогда почти не видели Вадима Сергеевича у себя. Папа все повторял, что с ним исчез сигарный дух из нашей квартиры. И вот наступило роковое время для нашей семьи. В январе 24-го стал умирать Владимир Ильич Беккер, сводный папин брат, который с 1914-го фактически всех нас содержал. Ранний удар — последствие наследст-

венного сифилиса. Тогда впервые за чуть ли не два года появился Вадим Сергеевич со своим доктором, Вольдемаром Ловиным, которого считал чуть ли не за гения. Стужа стояла свирепая. Отапливаться почти нечем. Они явились с мороза, как из бани, румяные, нарядные, тьфу! Ну что он сказал, гений этот? Люэс, говорит, в исходной фазе, и ни черт, ни Бог ему не помогут. Это мы с папой и без него знали. И еще, словно в издевку: даю, говорит, ему два дня. Потом на часы взглянул и добавил: и девять часов. Так точно оно и случилось. Дядю Володю хоронили на Ваганьковском, и Ловин ему в гроб положил свою фрачную перчатку лайковой».

«Ну, пора закругляться, — шепотом, но твердо сказал Шлепянов. — Эдак он до второго пришествия будет...» — «Я был бы вам чрезвычайно признателен, — решил я на последнюю попытку выяснить невыяснимое, — если бы вы несколько подробнее остановились на характере Вадима Сергеевича, если это вам не трудно, конечно». Кузен опять сел перпендикулярно к кровати и стал часто-часто морщить лоб, белый, покрытый красными точками. «Когда он к нам приходил, — быстро заговорил он, — то всегда приносил с собой атмосферу, ну, какой-то дурной расслабленности, двусмысленности какой-то. Ну, словно то, что совершалось, совершалось хотя и не им — упаси Боже, но как бы с его ведома и даже, грех говорить, молчаливого одобрения. Неудивительно поэтому, что и вокруг и в семье нашей стали поговаривать или, точнее, шептаться, что здесь не была исключена и возможность... ну, скажем, и сотрудничества — в той или иной форме».

Шлепянов откинулся на спинку стула, очаровательно улыбнулся и неожиданно мягко, почти весело спросил: «В какой именно форме? Был ли он или

мог бы быть ведущим двойную жизнь предгубчека или следователем-любителем, каких тогда было немало, или, наконец, вульгарным ажаном, а?»

Было видно, что вопрос смутил кузена. Он поправил позади себя подушку, придвинулся поближе к изголовью и, видимо, решившись на большую степень откровенности, быстро и резко заговорил, сопровождая свою речь странными рубящими движениями ладоней: «Нет, коллеги. Нет и нет. Ни о какой конкретной форме сказать ничего не могу — раз! Хотя при этом не могу и отрицать возможности какой-либо из них — два! Меня тогда выставили из Высшего Технического за дворянско-буржуазное происхождение — три! И, как вы, возможно, знаете, хотя, наверняка, не знаете, поставили условием восстановления мое публичное отречение от отца — четыре! Папа меня буквально на коленях умолял это сделать. Я, естественно, не соглашался. В самый разгар наших терзаний вдруг — здрасьте — является Вадим Сергеевич. Они с папой запираются в кабинете и — спорят. Знаю, что обо мне, но ничего не стараюсь расслышать — принципиально никогда не подслушиваю. И вдруг, коллеги, слышу, как Вадим Сергеевич кричит. Нет, коллеги, он не кричал, а говорил, но таким голосом, который ледяным лезвием рассек мне кожу и жилы, врубился в кости, да так там и остался: «ВЗОВ, — говорит, — не хочет, чтоб было ЧХТЛ. И не может он хотеть, чтоб Кирюшу из Высшего Технического выгнали или чтоб у меня сигар не было. Très bien. Умывший руки — не предавал. А предавший ведь мог и поколебаться, предать ли, но — предал. Теперь скажи, много бы сделали его колебания для его, ха-ха, репутации? Значит так, пусть мальчик предаст, а я умою руки, — bien? Ведь так быстрее пойдет то, что все равно шло и идет, — bien? А

колебания только затягивают агонию предающего, нисколько не облегчая положения других действующих лиц, и замедляют, порою непростительно, сам ход действия и приближение к развязке, — *compris?*» Вот что он заставил меня услышать. Вопрос о моем «отречении» (в кавычках) был решен. Я восстановился в вузе и не жалею об этом вынужденном поступке, поскольку — и к этому нас вынуждает объективный взгляд на вещи — прогресс все-таки достигнут неслыханный, несмотря ни на что, — он перестал резать ладонями воздух. — Что же касается слов, сказанных отцу Вадимом Сергеевичем, то не являются ли они идеологическим обоснованием предательства?»

«А он — жив?» — еще раз очаровательно улыбнувшись, спросил Шлепянов. «Не знаю. У меня, когда роман с моей невестой Анной Васильевной начинался, еще до ее брака с дураком этим Быстриковым, — она скоро его бросила, конечно, поскольку он ее не удовлетворял ни в физическом, ни в нравственном отношении, — так она с меня слово взяла: чтоб, говорит, всех этих Нейбауэров, Дрейнеров, Кондауровых и Фониных и духа здесь не было. Я обещал и верен этому обещанию по сей день».

Он очень устал. Мы откланялись. «Изменить свою схему жизни, — сказал Шлепянов, когда мы шли по Маросейке, — невероятно трудно. Еще труднее, чем в зрелом возрасте полностью перейти со своего языка на другой. В этом — огромный риск. Человек, меняющий схему, скажем, в середине своей жизни, может неожиданно оказаться в конце чужой или даже снова в начале своей собственной. Неудивительно, что Вадим Сергеевич предпочел продолжение — и завершение — своей схемы крайней опасности ее смены. А уже самое бессмысленное — это уехать в другой мир, продолжая жить в

своем. Так вот именно и живут безнадежные души в чистилище, по Сведенборгу. Не забывайте, однако, что им-то, Вадиму Сергеевичу и Михаилу Ивановичу, в 1918-м было чуть больше тридцати, а вам уже тридцать семь, и ни о каких опасных изменениях схемы вашей жизни пока что и мысли не было». Я, разумеется, стал возражать, что какая уж там опасность, когда оставаться было опасно, а не уезжать. Ведь все эти, из его компании, кого «взяли» или «брали», — это от них-то ни следа, ни пылинки не осталось, а уехавшие выжили все-таки в основном. И не мог Вадим Сергеевич не знать, что он всегда, день и ночь, на очереди туда же. Но сам я чувствовал, что довод этот банален и упускает из виду что-то очень важное.

«Это две очень разные опасности — опасность сменить схему и опасность смерти, — подумав, ответил Шлепянов. — Я предполагаю — и только на основании того, о чем мы с вами сейчас узнали, — что Вадим Сергеевич не считал себя ни жертвой, ни даже объектом совершавшегося в те дни и года. Напротив, он должен был бы себя считать хотя и не явным, но субъектом, более того — действующим, агентом в событиях того времени. А у агента совсем иное, нежели чем у других типов людей, отношение к событиям. Даже — а может быть, в первую очередь — к событию своей смерти. Это — его смерть, и он не хочет другой, как он не хочет и другой жизни. Но все это — об агенте как типе, а не о Вадиме Сергеевиче, которого мы еще совсем не знаем».

Так мы дошли до Охотного — и уже выпили по первой чашечке кофе в кафе «Москва», когда я его спросил: «А что же тогда был Михаил Иванович, антипод предателя, так сказать, — тоже агент? Разумеется, совсем уже предположительно, ибо о

нем-то мы уж решительно ничего не знаем». — «Я — киношник, — сказал Шлепянов, — мне нужен эпизод, хотя бы один, и обязательно с прямым действием. Иначе я просто ничего не увижу. Посмотрите, хоть из вторых, а то и третьих рук, но мы уже знаем пять, по крайней мере, эпизодов с Вадимом Сергеевичем (я рассказал ему о сцене в зимней электричке), да? И если моя гипотеза о его типе верна, то он, конечно, никак не мог бы быть агентом Чека или чего-либо еще в этом роде: настоящий агент может быть только своим агентом. Хорошо, теперь допустим, что кузина Аленушка была права и что Михаил Иванович был антиподом нашего треклятого Вадима, о'кей! Но что есть антипод агента, действителя, все равно — тайного или явного? Вы скажете — объект, жертва, пассивный материал, да? Ничего подобного, ибо такие — не в счет. Единственный реальный антипод — и почти всегда друг агента — это наблюдатель! А? Не ожидали? Оттого и вам в ваших поисках следов и отгадок я бы порекомендовал придерживаться именно этой, пока еще чисто спекулятивной концепции: в той кровавой каше 17 — 21-го ищите наблюдателя. А найдете, тогда и спросите, себя или его самого, если он вдруг еще жив, а не Михаил Иванович ли он?» — «Ну, а все-таки, — продолжал настаивать я, — а не могло бы одно его имя-отчество сказать вам хоть что-нибудь — вам, с вашей уникальной памятью на имена и обстоятельства? Ну попробуйте, пожалуйста».

«Тогда, пожалуй, начнем с фамилий, уже упомянутых кузеном Кириллом, черт его побери, — начал Шлепянов. — Итак, Кузьма Феоктистович Сакелович, подъесаул из кубанцев. Как его не замели до 21-го, Бог один знает. Горшунов — поручик Ее Величества лейб-гвардии Уланского. Георгий Казимирович Де Рейнер — явно отец вашего Егора, пошел

на фронт вольноопределяющимся. Его отец был банкир и пароходчик. Кондауровы — это не загадка, их все знают. Я с Лешкой Кондауровым (видимо, внучатым племянником) в одном классе учился. Все? Нет, еще какие-то Фонихины были упомянуты. Странная фамилия... О! Конечно же, как Де Рейнер стал Дрейнером, так же... кто бы это мог быть? Ну конечно, барон — не русский жалованный, а истинно германский — фон Эйхен. Георг Леопольд, а дальше забыл. Было третье имя — Александр, кажется. Правильно! Сын его, Владимир Александрович, студент-медик, был приятелем Мариенгофа. Он, по-моему, как-то выжил... Нет, — неожиданно резко оборвал он сам себя, — надо найти человека и, если он окажется Вадимом Сергеевичем, спросить его в лоб о Михаиле Ивановиче, ибо... — здесь он сделал риторическую паузу, — ибо не было и нет могущего оказаться Михаилом Ивановичем. Я чувствую, что он был — а если еще жив, то и есть — фигура абсолютно однозначная, и никакой вероятности или неопределенности в отношении его быть не может; наблюдатель не может наблюдать, скрываясь от наблюдаемого». — «Ну а если он решил перестать наблюдать и стал скрываться?» — попробовал я. «Тогда он сменил схему жизни, и его надо искать по другим следам и приметам, но идти к нему придется все равно от Вадима Сергеевича. Его вам никак не избежать».

Таков был вердикт Шлепянова, резюмирующий его теорию поисков обоих пропавших. Из этой теории мне и пришлось исходить — как в моих дальнейших поисках этих людей, так и — когда я на месяцы, а то и года забывал о них полностью — в попытках понять свою собственную ситуацию человека, периодически пропадающего для самого себя.

Глава третья

Визит к Алеше

Но подумайте, сколь часто в перипетиях и пертурбациях жизни нам приходится полагаться на чувства и сознание тех, кто заведомо ниже и примитивнее нас.

Г. И. Гурджиев

По мере поглощения Новым Арбатом всего того каменного и деревянного, что лежало между старым Арбатом и Поварской, прежнее обиталище Нейбауэров можно было обнаружить разве что в царстве теней. После смерти Елены Константиновны, поминок по Людмиле Ивановне и визита к кузену Кириллу я, сломив почти непреодолимое упорство девушки из адресного бюро напротив Большого театра, отправился в Сокольники.

Форсировав по крайней мере три Оленьих улицы и очутившись на четвертой, совсем уже неожиданно перед тем именно, нужным мне деревянным двухэтажным, почти дачным домом, я уже поднял руку, чтобы позвонить, когда заметил ржавую дощечку с полустертой надписью: «С. Ф. Нейбауэр — 2 звонка, В. С. Ховят — 3 звонка». Кому следовало звонить один раз, обозначено не было. Я позвонил три раза и через минуту оказался перед невысоким молодым человеком в черной тройке и белой рубашке галстучной, но без галстука.

— Вы от Андрея? Херсонес?

— Я от самого себя, и о Херсонесе Таврическом знаю не более того, что случайно прочел в брошюре, выпущенной Музеем изобразительных искусств пару лет назад. Об Андрее я ничего не знаю, если, конечно, речь не идет о моем друге и соседе по подъезду Андрее Яковлевиче Сергееве, поэте и нумизмате, что чрезвычайно маловероятно.

— Напротив, это он и есть. Кто вы и что вам нужно, если это не он вас прислал?

— Повторяю, меня никто не присылал. Этот адрес я получил в адресном бюро. Я бы очень хотел разыскать Вадима Сергеевича, если он жив, а если нет, то кого-нибудь из знавших или помнящих его. Скажем, кого-нибудь из оставшихся Нейбауэров. И не говорят ли фамилии на двери, что, по крайней

мере, когда-то здесь жили и он, и они, — не правда ли?

Молодой человек неожиданно извлек из нагрудного кармана пиджака пенсне, долго глядел на меня через сверкавшие на закатном солнце изящные узкие стекла — дверь выходила на запад — и сказал: «Пройдите в мою комнату». И, закрыв дверь, повел меня по длинному темному коридору. «Теперь сядьте на этот стул». В комнате ничего не было, кроме небольшого стола с телефоном, двух стульев и матраса, покрытого черным байковым одеялом. «Андрей, — тихо произнес он, набрав номер, — тут вместо человека от вас, сами знаете с чем, пришел один какой-то, — он сверкнул на меня стеклами пенсне, — кто говорит, что вас знает. Кто?» Я назвал себя, и он повторил мое имя в трубку. «Я решительно не знаю, что он от меня хочет... Да, длинный, да, косой. Вполне? Абсолютно? Ну ладно, но только как услуга вам с моей стороны. До свидания, Андрей».

— Я не могу предложить вам чаю. Я не могу предложить вам ничего. Сам я не пью ничего, кроме сырой воды и молока. У меня даже нет сахара, который я считаю вредным и вызывающим инстинктуальные позывы. Как вы, наверное, уже сообразили, я нумизмат. Когда я упоминал Херсонес, то имел в виду одну вещь, которую Андрей обещал, как мне казалось, прислать сегодня. Оказывается, завтра. Но это все не имеет никакого значения, и забудьте об этом. Теперь о моих родственниках. Последний Нейбауэр, Сергей Федорович, царство ему небесное, а точнее, адов огонь вечный, сдох четыре месяца назад. Вадим Сергеевич, упомянутый вами выше, являлся двоюродным, если не троюродным, братом моего отца, Владимира Сергеевича Ховята, имя которого вы увидели на двери и по ини-

циалам решили, что это и есть Вадим Сергеевич. Последний действительно жил здесь во время и после войны. Я его хорошо помню. У меня, как у настоящего нумизмата, прекрасная зрительная память. Здесь он протухал примерно до 1951-го, когда неожиданно исчез, не оставив после себя ничего, кроме долга отцу, по тому времени немало, и годами невыветриваемого запаха тухлятины от своего гнилого тела, который в сочетании с вонью от его сигар был совершенно невыносим. Мой отец рассказывал, что однажды, будучи еще совсем маленьким, я упал в обморок от его сигарного дыма. Куда потом делся этот мерзавец, не имею ни малейшего представления и не хочу его иметь. Но уверен, что по крайней мере десять лет назад он должен был подохнуть.

— Но означает ли это, что с 1951-го, то есть все эти пятнадцать лет, вы не имели о нем никаких сведений?

Молодой человек опустил на стол свою совершенно белесую голову и не проговорил даже, а простонал: «Ну приходил к нам, когда отцу уже совсем плохо стало, говноед этот, доктор Вольдемар Ловин. Отец его тогда спросил про Вадима, и тот улыбнулся своей скрюченной улыбочкой, такой жидовской — не думайте, что я антисемит, я сам на четверть еврей по бабке с отцовской стороны, — и говорит, что, дескать, с Вадимом все в порядке и что он шлет приветы всей семье. Семья! Отец — мученик. Я — последний здесь и навсегда. Одну малюсенькую ошибочку допустил отец, одну во всей своей, в остальных отношениях безупречной, жизни: меня зачал зимой 1940-го. 17 октября 1941-го, когда я выскочил из пизды моей матери в эту комнату, по эту сторону от Сокольнического парка всего, может, семей двадцать оставалось, а на нашей

улице — мы одни! Все — бежали. Отец с матерью остались — он хромой был еще с первой мировой. Вадим спал в нейбауэровском чулане — здесь, как вы видите, и втроем не разоспаться. Мать исчезла в 1943-м. Бросила меня и на фронт ушла. Она там фельдшерницей была, по одним сведеньям. А по другим, — главной блядью в дивизионном госпитале. Я ее не видел с трехлетнего возраста».

Эта история так меня взволновала, что я, забыв о Вадиме Сергеевиче и совсем уже автоматически, пошел со старой московской козырной — то есть она тогда была еще козырной — мой возраст. «Послушайте, Алеша, — сказал я, — но ведь история-то ваша — исключительная. Я вас ровно на те двенадцать лет старше, которые, конечно, хотя и спасли меня от подобного вашему началу, с одной стороны, но, с другой, лишили меня предоставленного вам редкого шанса видеть и прошлое наше и будущее как бы с середины. Бесспорно, и мой возраст имеет свои преимущества в отношении наблюдения людей и событий, но неизмеримо меньшие, чем ваш. Не говоря уже (и тут я вспомнил, к чему все это вел)... не говоря уже о причудливом вашем происхождении, которое в конечном итоге и привело вас к неоценимым сокровищам Причерноморья. Кстати, а не являлся ли столь порицаемый вами Вадим Сергеевич владельцем той самой тетрадрахмы Митридата Эвпатора (о, Джеймс Босвел, что ты в сравнении со мной!)...» — «Чистый вздор, — поднял голову почему-то успокоившийся Алеша, — эти люди ничего не понимали в монетах. А откуда вы знаете о тетрадрахме?»

Когда я еще раз соврал, что случайно слышал об этом от Елены Константиновны (о кузене Кирилле, как еще живом, я на всякий случай решил не упоминать), он резко встал и, пригладив редкие

желтоватые волосы, заявил: «У Вадима все было неизвестно откуда». — «И сигары — тоже?» — поспешил вставить я. «И сигары — тоже. И жизнь — тоже! Как он выжил — я вас спрашиваю? Не работа — при карточной-то системе и непрерывном надзоре милиции и ГБ? Ничего не зарабатывая? А так: то неделями дома сидит, читает или с отцом в покер, то вдруг исчезает на неделю, а то и месяц. Является всегда чистенький, выглаженный, в свежем белье, туфли начищенные, опрысканный одеколоном, и опять — этот гнусный сигарный запах! Что делал? Как жил? Ясно, предавал. Жил — предавал. А вы говорите!»

Несмотря на восклицательные знаки Алеши, я чувствовал, что негодование его выдыхается, что он устал несколько и что, пожалуй, настало время для лобовой атаки. «Помогите мне его найти», — твердо сказал я. «А зачем он вам?» — «А так, интересуюсь жизнями неправдоподобно живших людей. Кроме того, мне бы очень хотелось расспросить его о некоем Михаиле Ивановиче, о котором, думаю, вы никогда ни от кого не слышали».

Смеркалось. Алеша отошел от окна и очень тихо сказал: «Ей Богу, он уж давно должен был бы умереть. Он уже давно предал всех, кого можно было предать, и нечего ему больше здесь делать. И вообще теперь в ходу другие методы, — и вдруг совсем для меня неожиданно и как бы уступая: «Я вижу, что вас несколько не убедил. Я знаю, что ругань — не доказательство. Но вы не пережили то, что я пережил в моем детстве, и оттого не можете понять, каким издевательством над нами было само его присутствие здесь во время войны и после. Даже шоколад и сгущенное молоко, которые он нам приносил, были издевательством, особенно в отношении отца. Отец, конечно, никогда себе не по-

зволял ни малейшего намека на это в его присутствии. Но он был деликатнейшим человеком. Ну хватит. Меня и так страшно выбили из колеи эти воспоминания и ваш приход. Но из чистой любезности и в порядке особой услуги приятелю моего коллеги Андрея я сообщу вам одну вещь только, и поступайте с ней как хотите, никогда, разумеется, на меня не ссылаясь и не требуя никаких дальнейших разъяснений. Итак, если этот подонок еще жив, то живет он где-то в северо-западном Подмоскowie и под чужим именем, отчеством и фамилией. В отношении последнего я совершенно уверен. Почему? — не хочу объяснять. Буду рад вас видеть в другое время и по иному поводу».

Возвращаясь по темным аллеям Сокольнического парка, я сожалел о почти потерянном вечере. Визит к мрачному Алеше только подтвердил концепцию Шлепянова, что искать надо не самого Вадима Сергеевича, а того, кто мог бы им оказаться.

Глава четвертая

В простых местах

Истерика еще не раз спасет от смерти.

Е. Рейн

Простыми не рождаются. Чтобы быть простым, надо сначала родиться в простом месте. В России нет простых мест. Или ты родился в месте, которое не в счет, в никаком месте, или — если что-то уже заставило тебя начать думать о переделке, в которую ты попал, — все становится настолько сложным, что с ним ты не распутаешься и при самом простом, до искусственности, подходе к вещам, о которых говоришь и пишешь. Еще и потому, что говорить и писать ты будешь о тех, кто уже родился в сложном месте и, позволю себе добавить, самым сложным образом. Забыв в очередной (и последний) раз о Вадиме Сергеевиче, Михаиле Ивановиче и прочих так или иначе с ними связанных лицах, я настолько увяз в обстоятельствах своей собственной жизни, что, не находя никакого иного из них выхода, предавался одиноким и порою весьма долгим прогулкам по зимней вечерней Москве.

В одну из таких вот экскурсий я прошел от Филевского парка до Зачатьевских и очутился перед тем самым неповторимым и единственным в своем роде особняком, получившим по своему, видимо, последнему, владельцу имя «магоновский». Заросший сад, простирающийся круто вниз к Москве-реке чуть ли не на две трети переулка, великолепная чугунная ограда, два огромных дуба, божественные легкие ступени, сбегающие от колоннады перед парадной гостиной к небольшому овальному пруду, — таково было это чудо позднего ампира, превращенное в конце двадцатых в санаторий для туберкулезных детей и оставшееся хоть и запущенным, но почти сохранившим свой прежний облик до конца шестидесятых.

Калитка чугунная, с Амуром и Психеей, была приотворена. Я проскользнул на боковую террасу, тихо сбежал — как десятки раз до того — к замер-

зшему пруду с расплывающимся желтым пятном луны и уже подымался по ступенькам, когда увидел перед собой старую женщину, стоявшую в дверях террасы. Без шляпы, совершенно седая, в меховой шубке космической изношенности, наброшенной на белый халат, она смотрела на меня строго, но без недружелюбия или осуждения. Так смотрят владеющие по праву, но давно потерявшие все, кроме права, на тех, кто никогда ничем не владел и не знает о праве, — смотрят со спокойным, незаинтересованным неодобрением.

«Посетительский час кончается в восемь, и дети давно спят. Вам придется уйти». — «Я, как видите, и так собирался это сделать. Но, простите меня, Бога ради, сколько раз — еще со времен раннего детства, — проходя мимо, я не мог отказать себе в удовольствии тайком пробежать в сад. И не странно ли, что меня «накрыли»-таки наконец и впервые в жизни!» — «А вы живете здесь неподалеку?» — «Давно уже не живу, но жил когда-то в пяти минутах, через два проходных двора, ныне, увы, закрытых». — «А где именно?» — «Соймоновский, 5/2, квартира 37. Прямо перед тем огромным, разрушенным бомбой домом». Старая дама легко прикоснулась к рукаву моего пальто и спросила: «Вы сын Шуры?» — «О, Боже! — не удержавшись вскричал я. — «Я — племянник Шуры. У нее никогда не было детей». — «Тогда вы — сын Саррочки, да?»

Не дожидаясь, пока пройдет мое изумление, она протянула мне очень маленькую руку с красными короткими пальцами и приветливо сказала: «Я Мария Николаевна Шаврова. Я не видела ваших теток с тех пор, как Сарра переехала сюда с Малой Никитской. Ее я видела в последний раз ровно тридцать пять лет назад уже на Соймоновском. Вам тогда, наверное, года два было, не больше. Пошли в

мой закуток чай пить. Я сегодня ночью дежурю». Она положила мне руку на плечо и улыбнулась, обнажив большие крепкие зубы. «Сейчас Иван Семенович Никитич придет, мой старинный друг. Чаю крепкого заварит. У него свой особый. А я из дому пирожков принесла. Вместе и попируем. Тогда все и расскажете».

Я не хотел ничего рассказывать. Иван Семенович, коротко стриженный, с короткой же бородой полукругом под чисто выбритым подбородком, поцеловал ручку Марии Николаевне, слегка поклонился мне и, подавая руку, сказал: «Очень приятно. На самом деле, очень приятно. Мы с Машей так и коротаем вечера, да теперь, можно сказать, и года, никого, кроме друг друга, почти не видя. Впрочем, не в этом причина грусти, даже если грусть и осталась какая-нибудь». Говоря, он едва заметно жестикулировал в такт словам. Мне отчего-то стало необыкновенно легко. Первый стакан чая оказался таким крепким, что у меня закружилась голова, как от счастья, и я невольно закрыл глаза. «Чересчур крепко, да?» Не дожидаясь ответа, Иван Семенович налил мне второй стакан, положив в него четыре куска сахара, и придвинул тарелку с пирожками. «Вы ведь много сахара кладете, да? Я умею заранее угадывать, кто много кладет, кто мало, а кто пьет пустой». — «Наш неожиданный гость занимается философией», — сказала Мария Николаевна, — он мне вот только что об этом рассказал. А Сарра и Моисей уже много лет как в отставке и живут под Москвой на даче». — «Философией? — Иван Семенович зажег сигарету и стал курить, почти не затягиваясь и плавно выпуская дым. — Я не спрашиваю — какой. Но где та резкость, та окончательность, без которой нет ни философии, ни философа? Обрели ли вы ту точность и непререкаемость

отношения к самому себе, без которых не может быть действительного отношения к другим — и это вне зависимости от того, любите ли вы их или презираете. Я столь откровенен с вами из-за полной непреднамеренности нашей встречи, что, однако, нисколько не исключает ее predeterminedности. Впрочем, это так, соображения задним числом. Я слишком поздно перестал быть человеком действия, чтобы успеть начать философствовать или даже говорить с философом».

«Да нет же! — поспешил включиться я, чтобы как-то заполнить время для быстреешего принятия решения, ибо слова его о «человеке действия» и особенно манера курить сигареты как сигары уже не оставляли никаких сомнений в том, что он и есть Вадим Сергеевич. — Да нет же, какой я философ? Только так, одно название. Жизнь еще мотает меня из стороны в сторону. Хотя, конечно, лестно называть себя философом — или когда другие тебя так называют. В особенности, когда знаешь, что и профессии-то такой, собственно, нет».

Ну еще чуть-чуть, и все станет на свое место. Ведь он просто не может быть никем иным! Пробный шар, посылаемый неопытной рукой бильярдиста-самозванца: «Бывают времена, когда чтобы стать предателем, не надо и предавать». И его непринужденная реплика: «Время здесь ни при чем. Просто люди в кого-то верят, не замечая этого. Замечают, только когда верить перестают. Тогда они называют его предателем». — «Ну да, — уже успокоившись, согласился я, — униженные и оскорбленные всех стран и времен скорее простят их унижавших и оскорблявших, чем тех, ну, кто не унижался и не оскорблялся».

Иван Семенович достал из кармана висевшего на спинке стула пальто плоскую серебряную фляжку

и разлил водку в маленькие граненые стопки («вот и пирожки пойдут»): «Я приглашаю вас выпить в память моего вот уже как десять лет покойного друга». Я послал второй шар, уже не пробный: «Когда умирает наблюдатель, то и действитель перестает действовать, не так ли?» Он налил по второй. «Я давно отвык удивляться — не на чем было упражнять эту способность. Сейчас, признаюсь, я несколько удивлен. Я не могу не согласиться с вами в том, что наблюдатель и действитель — всегда в паре. Один без другого не живет. Во всяком случае, не живет прежним образом. Съешьте пирожок, сделайте милость». Я поднял стопку: «Ну да, вместе с действованием ушли и сигары, не правда ли? Медленно раскуриваемые, благородные в своей тугой и упругой стати, лелеемые в мягких неторопливых пальцах. Не то что невротически сглатываемые одна за другой сигареты. Нет, истинный действитель не курит сигарет. Пью в память наблюдателя и льщу себя надеждой, что это тот не названный вами друг!»

Я закурил. Иван Семенович налил снова и сказал: «Все же я настаиваю на полной непреднамеренности — несмотря ни на что». — «На непреднамеренности чего? Нашей встречи?» — «Всего, включая и нашу встречу». Мы съели пирожки и выпили еще по стопке. «Твоя фляжка прямо корнюкунья какая-то», — сказала Мария Николаевна (она не пила). «Вы, мне кажется, скоро уедете отсюда навсегда, — продолжал Иван Семенович. — Вы, человек, крадущийся по аллеям магоновского сада, где вы не оставили ни владенья своего, ни любовницы, ни счастья, ни даже несчастья — ничего! Уедете себе на остров какой-нибудь. В Англию, скорее всего». — «Но почему же в Англию? — внутренне соглашаясь, но все же желая возражать, спро-

сил я. — Ведь я еврей. И если уж так случится, могу податься в Иерусалим». — «Этому так легко не случиться, я думаю. Это как с магоновским садом: вам навряд ли удастся найти то, что не вы сами потеряли. Ваши батюшка и матушка отменно за вас постарались: они потеряли, пусть сами и находят. Ими забытое еврейство само к вам не вернется, правда, Машенька?»

Это был явно ход в сторону, но я не уступал: «Я люблю Англию — на расстоянии, разумеется, — но ведь на Михаила Ивановича я уже все равно опоздал». Он, однако, словно не замечая моего *tour de force*: «Так что все равно уедете. Здесь вам не отойти в сторону — как-никак, а свое». — «А как же Михаил Иванович?» — «А он и уехал. Тут ему стало вовсе невозможно...» — «Так что же он, стало быть, сменил схему жизни?» — «Пожалуй, если вам нравится это выражение, хотя я бы предпочел другое: решился переиграть партию, зная, что она не переигрывается».

Пора было уходить. Иван Семенович легко поднялся со стула и, подавая мне пальто, сказал совсем уже неожиданно: «Ваш визит только приблизил конец, которого я равно не желаю и не страшусь. Вы человек из мира, мне совсем не знакомого. Я даже не вполне уверен, что такой мир вообще существует. Но и это мое суждение сомнительно, ибо как можем мы судить о людях из чужих миров? Не забавно ли, что некоторые из моих современников по десятым годам вполне серьезно считали меня агентом преисподней, а Михаила Ивановича — агентом Интеллидженс Сервис. Так им, видимо, было легче думать. Но, говоря о конце и совсем уже о другом мире, — он очень мягко улыбнулся, — я желал бы умереть, обнимая двух женщин — Машеньку и еще одну даму, которая умер-

ла сорок три года назад. Она часто зовет меня от-туда, а я все не иду». — «Предатель», — сказала Мария Николаевна, хотя было непонятно, потому ли он предатель, что изменяет ей с мертвой соперницей, или потому, что не спешит к последней. «А вас не тянет туда порой?» Когда я признался, что пока — нет, то он заметил, что это оттого, что пока там у меня никого нет. «Она-то все зовет меня, уговаривает. Приходи, говорит, скорее, я жду, а то ведь так изменишься, что я тебя и не узнаю. А я думаю: ведь если бы я тогда молодым к ней ушел, то потом Машенька там меня бы не узнала. Когда я спрашиваю себя, отчего меня никогда не привлекали занятия сверхъестественным, ответ совсем прост: оттого, что все и здесь кажется мне сверхъестественным или, во всяком случае, не совсем естественным». Так мы расстались.

Нет, даже сверхъестественная встреча в магоновском доме, хотя и доставила мне огромное удовольствие, не объяснила главного — и не только в отношении Вадима Сергеевича, но и, в первую очередь, в отношении меня самого. Вместо ответа я получил еще одну метафору. Да и стоило ль вообще ввязываться ради тривиальнейшего из решений: просто оказывается, что человек может прожить как хочет семьдесят лет. Ну а потом, когда больше не может, начинает (!) жить по-другому. А предательство? Ну, это зависит в конечном счете от взгляда со стороны или — как любил говорить покойный Александр Александрович Реформатский, когда его спрашивали, сколько раз он был женат, — «это как посмотреть».

Но так или иначе, а шлепяновскую концепцию изменения схемы жизни пришлось «отревизовать», так сказать. То есть сама по себе она все еще казалась мне убедительной, но только как форма, в

которую облекается осознание человеком себя и своих обстоятельств. Само же осознание, как только к нему прорвешься, оказывается безнадежно другим. Главное, в чем я стал сомневаться после усладительной встречи с первым из моих героев в больничном закутке Марии Николаевны, это — «действительность» почти уже отождествленного Вадима Сергеевича и «наблюдательность» пока еще мне неведомого Михаила Ивановича. А что если дело обстоит как раз наоборот: первый из них, хотя и слегка забавляясь, но наблюдал, в то время как второй — сам не знаю, почему я вдруг поверил себе в этом сразу и окончательно, — второй начал с действия почти исступленного, а изменившись, в отчаянии застыл. Но почему — в отчаянии? И тут уже сам, без чьих-либо намеков и наводок, я вспомнил об Асе Иософатовиче Думбане.

Думбан, друг моего тогда уже покойного знакомого Дмитрия Ивановича Лонго, был, так сказать, вполне «рассекречен» биографически и, хотя киевский караим по происхождению, знал огромное количество «вспыхнувших» и «погасших» молодых людей начала века на обеих сценах — петербургской и московской. В первую войну он воевал поручиком, а после 1918-го, до своей крошечной пенсии, всю жизнь работал счетоводом в домоуправлениях. Жил он в подвале на Тихвинской. В кафе «Националь», куда я его пригласил на солянку и бефстроганов, я просто спросил: «Кто был Михаил Иванович? Расскажите мне о нем все, что вы знаете, если, конечно, это не секрет и не повредит никому из живых».

Вынув из нагрудного кармана крошечный батиственный платочек и тщательно протерев свою рюмку, Аса Думбан налил мне и себе и воскликнул: «Сэр! Нераскрытие вами псевдонимов, так же как

и воздержание от отождествления носителей имени-отчества с носителями фамилий не только делают честь вашей скромности, но и, безусловно, заслуживают поощрения в виде ответной откровенности вашего случайного — это я, сэр, — но от того не менее благодарного гостя». Он выпил рюмку и продолжал: «Но прежде чем приступить к рассказу о том немногом, что я знаю о нем и о немногих — о, совсем немногих, почти не о чем говорить — других персонажах нашей короткой драмы, вы, из чистого снисхождения к словесным излишествам старого жуира, разрешите мне небольшое введение. Ну, как если бы драма уже окончилась, но что-то, относящееся не столько к сюжету и характерам, сколько к сцене, атмосфере и условиям развития действия — остается недопонятым, и я, сэр, с авансцены, задним числом ввожу зрителя в обстоятельства, самым действием не проясненные. Но это — упаси Боже — не моралитэ, о нет! Я бы назвал это, пожалуй, уточнением впечатления, уже сложившегося у зрителя, но еще не оформившегося в мысль. Итак — в дорогу! Я только что назвал эту драму — я говорю только о нашей частной драме — короткой. Но ее, позвольте, я бы рискнул повести от 1911-го, о'кэй! А закончилась она — не более чем условно, мой дорогой друг, то есть по условиям нашей маленькой постановки, — сейчас, через пятьдесят шесть лет. И то только потому, что вы сами предварили ее завершение, пригласив меня на авансцену. Но ведь я еще жив, не станете спорить? Как живы и Маша, и Иван, и Вадим, да и сами вы, my dear interloper. О, коротка эта драма только потому, что, рассказывая с конца, ее можно сжать до шести строк чужой анкеты или до четырех строк некролога, своего собственного. Но сама она в себе — длиной в десятки тысяч дней, сотни тысяч

часов, миллионы мгновений нерасслышанного, непроизнесенного и неслучившегося! А я сижу зимой 1942-го в своем подвале на Тихвинской и разрезаю кусок стирального мыла — аккуратно и точно, перочинным ножом — на двенадцать кубиков, по числу месяцев. На каждом выдавливаю грифельком карандаша название по яacobинскому календарю: жерминаль, флореаль, термидор... Так, забавляюсь. У меня нет продовольственной карточки, и мой дядька, Георгий Исхамалиевич Ферстон, подаривший мне мыло, запрещает подать заявление на ее получение. Как-нибудь, говорит, с этим куском придержишься. Через год я тебе другой подарю. А подашь заявление — привлечешь внимание, сам на мыло пойдешь. Меня никогда не арестовывали. Меня в жизни никто пальцем не тронул. Меня никто никуда не гнал. Я продвигался от секунды к секунде по едва обозначенной тропинке через нескончаемый пустырь. А теперь, когда я сижу с вами в приличном ресторане и даже более или менее прилично одетый, вы, сэр, говорите: «Ваш выход, поручик Думбан». Я выхожу, а драма-то — как вы ее придумали — уже кончилась. Великолепно! Можно наконец и поговорить — публика есть, и она ждет. Но ведь это — неправда! Я и сейчас, сидя здесь с вами, все еще на той тропке, на пустыре. Что, шикать начинают? Черт с ними! Я найму банду клакеров, и они будут мне аплодировать из черной дыры партера! Ну ладно, все давно разошлись. Я стою и рассказываю, мгновение за мгновением — вот уж скоро полвека. Кончили?»

Мы съели солянку, и я заказал еще бутылку. «Теперь — о частном. Не спросите ли вы себя, отчего никто, ни один персонаж нашей пьесы ни разу не назвал Михаила Ивановича по фамилии? Боялись? Вздор! Ни покойнице Елене Константиновне, ни

Ивану, ни вашему, сэ, покорному слуге уже давно нечего бояться. Так отчего же? В этом, уверяю вас, нет никакой загадки. Просто людям, его любившим, это и в голову бы не пришло, они знали его страсть к анонимности задолго еще до 1917-го. Страсть, ставшую obsессией после того, как он покинул страну, которой он столь опрометчиво и — да не зачтется мне это за осуждение — безуспешно, пытался служить. Оттого-то и я сейчас, когда все это уже вообще не имеет никакого значения, тоже не назову его по фамилии. Это — вопрос стиля, my dear fellow, а стиль — выше правды. Стиль — это честь. Когда я тупо волочил ноги по своему пустырю, я не видел конца и не ждал его. Нет, я не был готов к крушению жизни, но был подготовлен — не знаю, кем и как, — к безжизненности, к анабиозу, да простится мне этот прозаизм. Для Михаила Ивановича 1917-й был не крушением жизни, а уничтожением себя самим собой».

«А что потом?» — спросил я. «Потом у него не было времени на обдумывание ходов. Он набрал воздуха в грудь, нырнул в самую глубь, а вынырнув, обнаружил себя в другой жизни...» — «Не своей?» — «По правде говоря, я сильно сомневаюсь, была ли у него своя. Мне кажется, что он принадлежал к весьма редкой категории лиц: он был незаинтересованный игрок, хотя, конечно, и к этой характеристике необходимы поправки».

Опьяневший, он сидел выпрямившись, подняв острый подбородок и устремив взгляд раскосых глаз на гигантскую желтую люстру. Не чудо ли? Тысячелетие смешанных браков не смогло вытравить из Думбанова племени этого последнего следа его степной предыстории. Ни гуситские разбойники, позже превратившиеся в сечевиков, ни сандомирские шляхтичи, ни насильники-гайдамаки, ни вилен-

ские равнины, ни греческие негоцианты так и не выжали из караимского семени его последнего тюркского гена.

Я отвез его домой. Мы выпили посошок. Прощаясь, Думбан еще раз вернулся к теме вечера, дав ей несколько удивившее меня и не лишнее дву-
смысленности освещение. «Ваша готовность поверить в то, что Иван и Вадим — одно лицо, только подчеркивает ваш, мой новый молодой друг, удивительный оптимизм — представить себе наш позавчерашний день, при вашей полной ему чуждости! Не стану спорить, день вчерашний многое сгладил из различий позавчерашнего — в глазах чужого, разумеется. А вы-то уж совсем чужой. Вадим — немного персонаж из Леконта де Лиля. Отвлеченный неоромантизм. Обаяние демократической галантности. Ну а Михаил Иванович — он всегда был гораздо более англофилом, чем галломаном, что не могло не сказаться на его литературных вкусах и, км, личных предпочтениях. Но главное — не в этом. Главное — это его пессимизм. Никто из тех, кого я знал в десятилетие, не был так пессимистичен, насквозь и полностью, как он. Этим, возможно; он пытался застраховать себя от будущих разочарований, но и в этом я не уверен. Слишком хорошо он знал, сколько оговорок и дополнительных условий включает его страховой полис. Наш Поэт, знавший его еще юношей, сказал мне во время моего последнего приезда в Петроград, в 1920-м, что Михаила Ивановича не спасали — как спасали до последнего времени самого Поэта — ни страсть, ни вино, ни поэзия. Его отчаяние было удивительным для столь привлекательного, одаренного и богатого молодого человека. Подумайте, тогда, в 1911-м, ему было не более двадцати пяти лет и, кажется, вообще все вроде было в порядке. А Вадим — Боже

мой, он ведь еще здесь! — Вадим был совсем другое дело, отчего-то Михаил Иванович так нуждался в нем — в Москве, по крайней мере. Вадим был абсолютно спокоен, что, разумеется, не значило, что грусть и тоска были ему вовсе чужды. Будьте же терпеливы пока — вам еще немало отыщется».

(О, как безумно мне тогда захотелось, чтобы кто-нибудь заговорил со мной обо всем этом на настоящем языке моего времени! Но есть ли такой язык? И много ли на нем скажешь о том, что его не знало? Не напоминает ли нам неустанно Судьба, что то, как наш разговор ведется, уже есть то, о чем он? Увлеченно подражая людям позавчерашнего дня в стиле описания ими самих себя, не оказался ли я в тупике регрессивных иллюзий и давно использованных метафор?)

«Опять все эти пока и еще!» — орал я, мечась по заснеженному Староконюшенному переулку (полупьяный, я еще не решил, где кончить вечер). Все мы к черту помешаны на каком-то проклятом конце, где можно наконец... Конце — чего? Что — наконец? Точке успокоения, при взгляде из которой на не наше, не свое прошлое — как если бы тебе не было с лихвой довольно и своего — можно было бы хоть на пять минут застыть с одним чистым воспоминанием. И где эти анафемские, до остервенения нужные мне две тысячи! Двадцать тысяч Достоевского, тридцать — посмертного пушкинского долга!

Но, конечно, эти истерические вскрики навсегда остались бы не более чем географической меткой в моей московской истории и никогда не попали бы в эти строки, если бы в этот момент я не очутился перед двойным подъездом обворожительного раннемодернистского особняка в том же переулке. В мои детские годы там размещалось двойное по-

сольство тогда находившихся в унии Дании и Исландии. В потоке яркого света, лившегося из иллюминатора между первым и вторым этажами, я увидел стоявшего ко мне спиной длинного, сухопарого пожилого человека в поношенном коричневом осеннем пальто с поднятым воротником и старой фетровой шляпе. Ему не надо было оборачиваться — да я и не хотел этого, Бог с ним, — чтобы я узнал в нем себя. Методология узнавания двойника была мне известна из Рабацкого, Дурмонта и Густава Мейринка — я не был полным профаном в этом вопросе. Это, конечно, не был я тогда, а я лет через двадцать-двадцать пять; я даже слышал запах незнакомых сигарет, — но в том, что это был я, не могло быть никакого сомнения. Мой друг, Уку Масинг из Тарту, почему-то настаивал на теории, что двойники бывают либо из прошлого, либо из будущего. Этот явно относился к последней категории.

Это не начало серьезного разговора о двойниках. Хотя, как типичный недоучка, спешащий выпалить в лицо собеседнику все, что он знает о предмете беседы, я не могу удержаться, чтобы не упомянуть о двух обстоятельствах. Первое, встреча с двойником лицом к лицу — событие почти невероятное и не предвещающее ничего доброго встретившему. Второе, двойник и тот, чьим двойником он является, не симметричны по своим свойствам...

Глава пятая

Теория двойника

В то время в Старом Городе еще можно было найти двух-трех человек, знающих толк в двойниках.

Г. Мейринк

Чтобы избавиться от двойника, надо переменить... занятие.

М. Кузмин

Эта асимметричность находит свое проявление в двух (по крайней мере) аспектах — субъективном и объективном. В субъективном: вся информация о двойнике исходит не от него, а от того, чьим двойником он является, — двойник не сообщает о себе, чей он двойник. Из этого, между прочим, следует и отсутствие взаимообозначаемости в приложении самого термина «двойник». Говоря о своем двойнике, это я называю его двойником. Ибо это он — мой двойник, а не я его. Именно поэтому — как недавно заметил мой друг, физик-теоретик из Лондонского университета Коля фон Обервейн — все попытки рассматривать двойника как анти-я или антиперсону попросту смехотворны: само понятие «анти-частица» («анти-материя», «анти-мир» и т. д.) в теоретической физике безусловно предполагает, что если одна частица является анти-частицей другой, то и та является анти-частицей первой.

В объективном аспекте эта асимметричность выражается в том, что внешний наблюдатель не может поставить себя с другой — то есть противоположной моей — стороны от моего двойника, так чтобы последний оказался между ним и мной. Так, в моем случае, если бы внешний наблюдатель находился за стеклянными парадными дверьми бывшего датско-исландского посольства, то он увидел бы не моего двойника, а меня с выпученными от страха глазами. Однако утверждать на этом основании — как это делал ныне покойный профессор философии Московского университета Валентин Фердинандович Асмус, — что двойник вообще не имеет объективного существования, поскольку он не доступен наблюдению со стороны (правильнее было бы сказать, с другой стороны), было бы непростительной крайностью. В этом вопросе я скорее склоняюсь к мнению Карла Шлесслера из Вены,

который считает, что хотя, в принципе, видеть чужого двойника (со стороны этого чужого, разумеется) может всякий, но что лишь очень немногие способны увидеть в нем двойника, а не того, чьим двойником он является. Тот же Шлесслер считает, что, опять же в принципе, никто не может видеть одновременно другого человека и его двойника и что это более чем очевидно в случае самого человека, который, разумеется, сам себя не видит, когда видит своего двойника.

Все это, однако, пришло мне в голову очень задним числом или, как говорят немцы, «на лестничной площадке», а пока я оставался на морозе — без встречи с Вадимом Сергеевичем, без разрешения загадки Михаила Ивановича, без двух тысяч и даже без двойника, так как последний внезапно исчез. И вообще — сказал я себе — с 1911-го по 1917-й твой Михаил Иванович прожил себе довольно на твои тридцать семь, думбановские восемьдесят и, кто знает, на какие еще и чьи года.

[Когда через двадцать лет Нина Николаевна Берберова из Принстона и Ричард Абрахам из Лондона вылили на меня по ушату ледяной воды в отношении моих поисков конкретного Михаила Ивановича, я только и мог вспомнить о том эпизоде перед бывшим объединенным посольством (они давно разъединены и обретаются в разных местах). Покинув в Москве своих собственных современников, я прибыл в «приемное отечество» Михаила Ивановича, где между ним и мною уже не оставалось ничего, кроме несуществующего времени. Кроме хронологического провала, который в Москве был заполнен Еленой Константиновной, Кириллом Эльвермелем, Думбаном, Вадимом Сергеевичем и другими живыми и мертвыми. Они-то и были временем. Без них времени бы просто не было. В

Лондоне же нас с Михаилом Ивановичем не разделяло даже и пространство, ибо жил я почти что рядом, если и не с настоящей его могилой, то с могилой его любви, так сказать.]

Оборвавшиеся ниточки растрепанного сюжета, никак не завязывающиеся в неловких пальцах неумелого рассказчика! Сколь ни жалко мне было разочаровывать Шлепянова, ждавшего ловкой и кинематографически «верной» развязки с Вадимом Сергеевичем, у меня пока ничего не получалось. И я, неудачливый разгадыватель невыдуманной тайны его жизни, не оказался ли сам не более чем выдуманным из нее случаем? Вадим Сергеевич прошел по другому краю того же думбановского пустыря. Просто одна дама, молодая и прекрасная, сменилась другой, и сигары, регулярно пересылаемые через секретных эмиссаров Михаила Ивановича, после смерти последнего сменились сигаретами. В том же мире, куда ушла Елена Константиновна Нейбауэр, дядя Вадя будет обнимать обеих своих возлюбленных и — да простится мне эта фривольность — курить сигары и сигареты одновременно. Увы, но не прав ли был Мераб Мамардашвили, когда утверждал, что и наблюдать-то можно лишь тобою самим созданные объекты? Внутренних тайн не бывает. Тайна всегда — во внешнем действии, закрытом взору случайного постороннего.

Глава шестая

**Вечер с Авербахом;
успешная попытка движения**

Очень важно, если у тебя нет ни копейки и ты весь в долгах, купить безумно дорогой английский и обязательно новый твидовый пиджак. Потому, что это — для будущего.

И. А. Авербах (резюмируя песенку Б. Окуджавы)

В тот еще не оконченный вечер у меня уже не оставалось сил на сомнения по поводу обоих разыскиваемых лиц, так же как и на надежды по своему собственному поводу.

Однако в тот же вечер, уже весьма поздний, мне не пришлось остаться наедине и с чашкой кофе. С поздней рюмкой водки в руках я стоял перед Ильей Александровичем Авербахом, пытаюсь (пока тщетно) его убедить если не в правдивости, то, по крайней мере, в вероятности моей версии о Вадиме Сергеевиче, Михаиле Ивановиче и вообще о смысле и духе десятых годов. Мне было божественно жарко и хорошо: Илья сказал, что даст мне две тысячи на неопределенное время — вышлет, как только вернется в Ленинград. «Ты еще не нашел человека, — возражал мне Илья, — а уже выводешь его мысль и характер из созданной тобой же самим атмосферы». — «Да нет же, — отбивался я, — просто так получается, что люди, творчески реагирующие на атмосферу своего времени и тем сами ее сгущающие, за одно десятилетие непрерывного творчества полностью разучились думать». — «Но зато они купались в невообразимой культурной роскоши, — настаивал Илья, — думанье просто все бы испортило. Да ты на себя посмотри! Много ли ты думаешь, когда занимаешься своей наукой? А вот когда чудная прихоть загнала тебя в живую историю, то тебе уже кажется, что только один ты и думаешь».

Я, разумеется, должен был согласиться, что лезть в чужие дела и в особенности в историю, которая и есть одно большое чужое дело, сильно располагает залезшего туда к рефлексии — именно потому, что там все уже сделано теми, кто не рефлексировал и вообще не думал, а делал. Что, однако, не исключает того, что в реальной истории случаются люди, выбравшие рефлексии и отказавши-

еся от творчества. Сам Поэт говорил о неизбежном, хотя и опасном (он его очень опасался!) эзотеризме «высокого» искусства, его сознательной (он думал, что он сознает!) отделенности от «толпы», которая это искусство потребляет. А рефлексирующий отделяет себя не только от толпы, но и от искусства. Он эзотеричен в кубе! — «Совершенно верно, — обрадовался Илья, — этим он одновременно избавляет себя от творческих мук и от необходимости объяснять искусство и вообще культуру толпе, что тоже — мука. Хотя такие вот думающие — они при этом могут быть простодушны и наивны, как люди искусства. Они могут даже страдать, как остальные. Только у их страдания должна быть какая-то иная тональность, что ли. Я, как человек кинематографа, попытаюсь сейчас вообразить твоего Михаила Ивановича на экране. Он, по моему, должен был быть очень киногеничен. Кстати, даже на основании твоего рассказа я бы никогда не поверил, что неуловимый Вадим Сергеевич и Иван Семенович Никитич — одно и то же лицо. Мне кажется, что здесь имела место иллюзия, которую Никитич не пожелал разрушить, а ты, как всегда, поторопился с выводом и попал в свою же собственную ловушку».

Чтобы понять (и описывать) людей и обстоятельства той эпохи, ни в коем случае не надо пытаться это делать на ее языке. Из такой попытки не выйдет ничего, кроме безвкусного архаизированного пересказа. Для этого следует употреблять язык твой собственный — и оттого вполне современный, даже если он и отличается от языка других твоих современников (пусть даже и в худшую сторону). Хотя при этом неизбежна угроза анахронизма. Но если ты стараешься понять самого себя сейчас, то лучше это делать на языке заведомо не-твоим и

несколько архаизированном — при том, что угроза анахронизма остается. Из этого филологически весьма сомнительного принципа следует, что если бы интересующие меня люди десятых годов любезно согласились удовлетворить мое нездоровое любопытство, то я бы, пожалуй, попросил — как уже величайшую любезность с их стороны — сделать это на языке поколения, им предшествовавшего. Так, архаизируя настоящее, модернизируя прошлое и анахронизируя и то и другое, мы боремся с эфемерностью эпохи, в эфемерной же надежде «схватить» вневременное во временном.

«Забудь ты про своих действующих и наблюдателей, — увещевал меня Илья. — Станный человек — вот кого ты на самом деле ищешь. И его странность не только в странности восприятия его другими. Станный — это тот, кто делает с тобой что-то, не предусмотренное твоей жизнью, но входящее в твою судьбу. Так, скажем, все вокруг идет ко всем чертям, а у странного — роман! И то и другое странным образом включает в себя то, что происходит вокруг, но само в это никак не включается. Но и это не все. Настоящий странный одним своим присутствием выключает других из эпохи и обстановки. И немногие, кто этого желают, сами ищут в странном своего «выключателя», так сказать».

«Послушай, уйди в свои дела, — советовал мне Илья, предостерегая от вмешательства в слишком уж чужие. — Главное — уметь забыть о мучающем. А забудешь, оно само и устроится — как с твоими двумя тысячами. Ведь не будет же твой двойник появляться всякий раз, когда ничего не получается».

Сейчас, через много лет после этого разговора, мне совершенно ясно, что время вождей масс и вообще «крупнейших общественных фигур» проходит или уже прошло. Так же как и время подполь-

ных или полуподпольных таинственных одиночек, извлекаемых на свет Божий после падения очередного диктатора, властителя дум или пленителя чувств. Наступает время фигур, равно далеких как от «всенародной» славы, так и от признания элитной верхушки. Эти фигуры могут быть известны двум-трем любопытным — каждая в своем городе, квартале или поселке. Появление таких личностей на публичной арене случайно и обычно вызывает недоумение немногих знающих и явное неодобрение остальных. Но даже будучи на виду, они все равно следуют призыву своего интимного, а не общего, которому они остаются чужды до конца жизни. Вообще я думаю, что когда они «выходят на публику», то делают это из-за слишком острого чувства своей собственной несвоевременности и неуместности, пока это чувство не отрефлектировано ими же как вневременность и безместность. Ибо когда наконец приходит их время, то они обычно остаются полностью в своей частной жизни, а там — как выйдет.

Глава седьмая

Дачная сцена

Ценой добровольного прозаического труда он оплачивал необходимость своих поэтических устремлений.

Джозеф Конрад

Это была последняя подмосковная сцена в моей жизни. Беседуя с настоящим Вадимом Сергеевичем, я не мог не чувствовать игры их (его и Михаила Ивановича) характеров — вот что, видимо, придавало такое очарование этой паре. Итак, постараюсь изложить услышанное почти протокольно и, как уже говорилось выше, своим языком.

Михаил Иванович был всегда в делах. Точнее, уходил в дела. Уходил — от чего?

Это случилось определенно до лета 1911-го, когда, следовательно, ему было около двадцати пяти лет. Он пригласил Вадима Сергеевича и еще двух приятелей на ужин, но не в ресторан, а в частный дом, владелец которого был им неизвестен и отсутствовал. Тихо и даже вроде робко он сообщил им, что полагает их способными понять, а себя — объяснить примерно следующее.

Что верность идеалам, каковы бы они ни были, невозможна без явных, реальных вещей и действий. Что такой вещью и таким действием может служить предложенный им и его петербургскими друзьями особый, розенкрейцерский Ритуал — он-то и будет залогом их верности идеалу. Что он не собирается их вербовать ни в какое тайное общество, но что, по его мнению, нынешние обстоятельства таковы, что неизбежно и немедленно губят благородные порывы индивида, коль скоро эти порывы выносятся на публику, на суд общественности, так сказать, даже — и тем более — если они общественностью принимаются. Что, без сомнения, ошибки и тогда возможны, но, по крайней мере, тогда ты будешь связан клятвой с людьми тебе близкими и не считающими твои идеалы ерундой или сумасшествием. Розенкрейцерский Ритуал он полагал той «духовной подставкой» для индивида, имея которую тот сможет свободнее думать о событиях и ситуациях,

и одновременно той сценой, на которой будут «разматываться» (его выражение) эти события и ситуации. События и ситуации, конечно, тебе чужие, но раз уж ты в них оказался, то приходится быть в них активным. Иначе ты окажешься — если уже не оказался — их жертвой, что противно самой идее свободы («свободный не может быть ничьей жертвой» — его слова). Ритуал поможет тебе — как то, что есть не-твое и ничье. Так ты можешь получить шанс «пробить символическую стену не-свободы».

Дальше. «Символическое» не значит «не-существующее». Напротив, символ в этом случае предполагает ту объективность дьявольского, серого, которой противостоит Высшая Объективность Божественного, символом которой в этом же случае является Роза и Крест розенкрейцерского Ритуала. «Не странно ли, — продолжал вспоминать Вадим Сергеевич, — что из всей компании я был единственный коренной москвич. Один из нас, Жорж Этлин, еврей-студент родом из Белгорода, раз спросил, а зачем вообще ввязываться в политику, когда уже и так ясно, что все, что из этого может произойти, будет заведомо только хуже. Михаил Иванович — сейчас мне трудно вспомнить, что именно он сказал, но что-то в том смысле, что страна ждет особых людей, которые могли бы заниматься политикой, в нее не ввязываясь, лично не ангажируясь, и что поэтому лучше, пожалуй, не становиться членом ни одной из партий, но что при этом что-то все-таки должно за тобой стоять — и это эзотерический обряд. Потом Михаил Иванович говорил еще, что надо руководствоваться идеалом добра, а не идеалом борьбы со злом, даже если сейчас — или даже на долгое будущее — преобладание зла совершенно очевидно».

Когда я спросил Вадима Сергеевича, означает ли последнее утверждение, что в то именно время,

то есть в 1911-м, в их кругах имела хождение идея или теория, что должно быть хуже, чтобы в конечном итоге стало лучше, то он ответил, что эта идея действительно имела хождение и даже пользовалась известной популярностью. Взять хотя бы такого знакомого Михаила Ивановича, как Алексей Максимович, — тоже человек из провинции, время от времени триумфально появлявшийся в Москве, — он так именно и считал. Михаила Ивановича беседы с ним, хотя и весьма редкие, всегда ввергали в тоску. После них он даже напивался, к чему в общем не имел особой склонности. Сам Вадим Сергеевич ни разу при этих беседах не присутствовал, но был убежден, что Алексей Максимович искренне считал, что ЧХТЛ («чем хуже, тем лучше»).

Это имя было мне, конечно, слишком знакомо, чтобы я мог удержаться от вопроса, а не сохранил ли он свою приверженность этой точке зрения до конца своей жизни. Вадим Сергеевич сказал, что, безусловно, сохранил. Он рассказал, как посетил Алексея Максимовича в 1934-м в его особняке на Малой Никитской и между прочим спросил его об этом. Тот долго смеялся (было чему!) и сказал, что хорошо ли, плохо ли, а все выходит, как по писаному. Михаил Иванович, однако, так никогда не считал — даже много позже, когда основания для этого сделались гораздо более вескими. Все свои дела — а их было несметно много — он вел, как если бы был совершенно уверен, что решительно ничего хорошего из этого не выйдет, но что все равно делать их следует — хотя бы потому, что ничего иного по судьбе ему не остается — так же, как и знать. Он любил говорить, что русские имеют врожденную склонность к гностицизму без гнозиса (Высшего знания) и используют любую возможность, только чтобы не знать — более даже, чем чтобы не делать.

Михаил Иванович никогда не скрывал своего пессимизма, но ему никто не верил. Считали это светской позой, тогда весьма модной.

«Кстати, чтобы покончить с вашим вопросом о схеме жизни и о том, кто из нас наблюдатель и кто действитель (я уже ввел Вадима Сергеевича в курс шлепяновской гипотезы и моих попыток ее применения), то, конечно, я был пассивным свидетелем, а он — истинным исполнителем предрешенного. Я никогда по-настоящему не страдал, а он мучился всю жизнь, часто невыносимо. Только действие, временами исступленное, могло — на время, конечно, — облегчить его мучение. Само то, что я оставался сравнительно спокойным, когда все вокруг страдали, и страдали страшно, не могло — о, это так понятно — не возбуждать подозрений в том, что я живу какой-то особой и скрытой жизнью. Жизнью — либо порочной и преступной, либо дьявольски холодной и преднамеренно отрешенной от их бед».

«Но этим, — продолжал Вадим Сергеевич, — я нисколько не желаю сказать, что он действовал только из необходимости. В конце концов из той же необходимости можно было бы и спиться. Мне кажется, что именно страдание побуждало его к определенному рода действию, внешнему и общественному. Я уверен, что если бы тогда кто-либо из его друзей по Ритуалу спросил его, что он на самом деле делает и зачем, он бы тому ответил с полной откровенностью и серьезностью. Но не думаю, чтобы его часто спрашивали об этом, — люди любопытны и живут в своих занятиях и чувствах. Но в то же время он был столь богат, красив и благополучен, что вряд ли кому в голову могла вообще прийти такая мысль, — вот так, просто остановить его и спросить. О, он бы ответил, безусловно, от-

ветил! Скрытность, всегда жившая в нем, тогда еще не была манией. При этом он обладал еще и незаурядной способностью к созерцанию, столь редкой в людях действия. Да что там говорить? Чем только судьба его не наделила!»

Он говорил тихо и легко — все, что осталось от прежней легкости. Ноги в огромных меховых унтах служили теперь только в пределах чистой квадратной комнаты с дощатыми, насквозь сырыми стенами — была весна — в мезонине летней дачи между Литвиновым и Дурыкиным. Крошечная пристань на Клязьме накануне весеннего паводка. Паводок сравнивает проклятие с искуплением и осуждение с наградой. Розочки грязновато-белой пены на бурлящей воде. Розочки — для меня? Сейчас для меня — предвечерняя прогулка и обратное, в почти пустой электричке, путешествие в сердце всей России. Еще сорок минут — и я опять в третьей четверти века, хотя и несколько опрометчиво, но и не без приятности начатого Михаилом Ивановичем и Вадимом Сергеевичем. Но розы?

Ассоциации памяти сыграли за меня: «Милый Вадим Сергеевич, а не могли бы вы объяснить, почему покойная Елена Константиновна называла Михаила Ивановича рыцарем? Только ли из-за благородства его характера, или для этого имелись и другие, ну, скажем, более формальные основания?» — «Ну конечно же, конечно, — мягко и учтиво заговорил мой хозяин. — Формальные, или называйте их как хотите. Рыцарство, как вы знаете, означает верность клятве, данной Богу, Даме, сюзерену или чему угодно, но не абстрактному идеалу, конечно. Верность клятве — Крест рыцаря. Оттого он и отмечен Крестом при посвящении, и Крест он носит на груди...» — «А роза?» — «Роза — это готовность посвящаемого, невинность его стрем-

ления к Кресту и принятие им страдания и радости его, освященной Крестом жизни». — «Но имела ли Елена Константиновна в виду его посвящение, когда называла Михаила Ивановича рыцарем?» — «Нет, конечно, хотя здесь могло иметь место и совпадение, а совпадение — это тоже своего рода формальность. Так скажешь что-нибудь, вроде бы фигурально, а совпадает с конкретным событием. Назовешь кого-нибудь рыцарем, а он и есть рыцарь. Или еще один случай с Михаилом Ивановичем. Приносит ему Поэт свою пьесу «Роза и Крест», а он и есть рыцарь Розы и Креста, и про него и есть эта пьеса. А Поэт, может, до того его только раз в жизни и видел, тоже — совпадение. А с вами разве не то же? Вы, когда меня искали, Никитича за меня приняли. Так он хоть и не я, а вместе со мной был в тот вечер приглашен Михаилом Ивановичем в дом Алавердова. Третьим приглашенным был Жорж Этлин...» — «Расскажите же! — взмолился я. — Знаю, что награда пришла поздно и незаслуженно, но расскажите, Бога ради, что произошло в доме Алавердова — хоть самое главное».

Вадим Сергеевич включил допотопную электроплитку — для тепла и чтобы сделать нам чай. Сигары, — начал он, разливая чай, — это легенда. Как часто нам необходима легенда, чтобы сказать хоть что-то определенное о человеке, с которым близко знакомы, но которого совершенно не знаем. Так я, например, всегда курил сигары вперемежку с папиросами, а после — с сигаретами, но сигары были моей легендой. Легендой Ивана было его неумное женолюбие, которое ему — я это точно знаю — было нисколько не свойственно, разве что некоторая влюбчивость. Легендой Жоржа было, что он отчаянный игрок и регулярно ездит в Монако, где, насколько я знаю, он был и играл один-един-

ственный раз и где тогда же познакомился с Михаилом Ивановичем. Легендой последнего было его легендарное богатство — редкий случай, когда легенда совпадала с действительностью. Пожалуй, единственное, что нас троих тогда объединяло, было полное отсутствие у нас каких бы то ни было обязательств по отношению к какому-либо делу и к кому-либо персонально — в России и во всем белом свете. Это, однако, не означает, что мы были всегда беззаботны и безоблачно веселы — о, нет! Все, что я хочу сказать, — и это очень важно для того вечера, — что в мире тогда не было общества, учреждения или частного лица, которые бы считали, что у нас есть перед ними какие-либо обязательства. Все остальное было сугубо личным делом каждого из нас в отдельности, включая сюда и дружескую — хотя и не без некоторой отчужденности — связь с Михаилом Ивановичем, бывшим нас старше и гораздо, я бы сказал, задумчивее. Но возвращаясь к «символической стене не-свободы», с которой начал. Михаил Иванович объяснил, что сейчас, пока мы еще не обременены обязательствами, нам было бы легче эту стену преодолеть — даже бездумно, следуя его наставлению, — и оказаться «по ту сторону». Оставшись же по эту, мы автоматически подпадаем под власть истории. Истории, которая не наша, даже если это история нашей собственной жизни.

Он говорил, что история готовит для себя два контингента. Первый состоит из тех, кто думает, что скоро, совсем скоро будет ею управлять. Второй — это те, кто предназначены заранее быть жертвами истории, — они вообще не думают, или то, что они думают, настолько темно, что не может приниматься во внимание. Общее положение в Европе, и особенно в России, напоминает ситуацию в начале XIII

в. во Франции, завершившуюся карательным походом Симона де Монфора против графа Раймунда VI Тулузского. Эта война, хотя и крайне жестокая, была лишь «символической прелюдией» к тому, что произошло через сто лет во всей Европе. В XIII в. решалась «схватка сил духа», и экономические закономерности, которых Михаил Иванович никогда не отрицал, хотя и сохраняли свою силу, но оказались как бы «временно подвешенными» (*temporarily suspended*). Ситуация разрешилась в XIV в. тем, что дух христианского рыцарства покинул рыцарей как социальную группу, ушел из истории, дав на два столетия вперед свободу экономическому развитию, инквизиции и реформации. В начале же нашего XX в. интервал между «символической подготовкой» к исторической ситуации и разрешением этой ситуации оказался сжат до нескольких лет. Эту подготовку, настаивал Михаил Иванович, надо совершать как можно быстрее, пока ты еще не проснулся в одно прекрасное утро министром внутренних или иностранных дел (тогда начиналась министерская чехарда в Санкт-Петербурге) или пока твой труп не обнаружили в городском морге. Необходимо скорее «уходить из истории» и совершить, вступив в Орден, «символическое возвращение» к вне-историческому духу рыцарства. «Поскольку сейчас, как я понимаю, у вас нет других обязательств, которым бы помешало выполнение тех, которые вы готовы на себя принять?»

Жорж Этлин уже был несколько пьян. Развалившись на низком диване и вытянув ноги, он вытащил из кармана фракных брюк смятую темно-красную розу и, помахав ею, томно проговорил: «Эту розу я сегодня украл у моей неверной невесты Эльфриды и, пока ехал сюда на извозчике, поклялся ей — розе, а не Эльфриде — в вечной верности. Я согласен

принять на себя обязательства, налагаемые Орденом Михаила Ивановича, только если они не придут в столкновение с этой уже принятой клятвой». Михаил Иванович, словно не заметив фривольности этих слов, сказал серьезно: «Никакого столкновения здесь быть не может, Иегуди Самсонович (Жорж был внебрачным сыном херсонского негодья Самсона Рувимовича Ингера, которого хорошо знал дед Михаила Ивановича). Раз вы уже принесли клятву Розе, то теперь время клятве Кресту — именно в такой последовательности.

«Смотрите, мой милый гость, — вернулся Вадим Сергеевич к тому, с чего начал, — а не было ли и в этом точного совпадения?» — «Дальше, дальше!» — умолял я. — «Ну что ж, дальше так дальше».

После кофе и коньяка неожиданно появился Андрей Стокалов, кузен Ивана, позванный, как оказалось, чтоб помогать при совершении Ритуала. Пришел еще один человек, нам совершенно неизвестный и который не был нам представлен по имени. Он руководил совершением Ритуала Посвящения. О самом Ритуале я, разумеется, вам рассказать не могу. Все кончилось далеко за полночь. Непоименованный нас поздравил. Алавердовский лакей внес ведерки с шампанским и удалился. Стокалов раскупорил бутылки, а Михаил Иванович обносил нас «Луи Редерером». Все было легко и не очень торжественно.

Вдруг Непоименованный резко обернулся к Ивану, стоявшему с бокалом в руке спиной к зеркальным дверям гостиной, и приказал высоким звонким голосом: «Возьми шпагу, она висит на ручке двери позади тебя. Но не оборачивайся!» Иван поставил бокал на паркет и достал из-за спины короткую блестящую шпагу с черной рукоятью и позолоченным эфесом. «Теперь возьми ее в обе руки и метни пря-

мо в его сердце, — и он указал на меня. — Ведь в юности ты великолепно метал в цель кинжалы, schnell!» Иван сделал два шага вперед — я сидел с Жоржем на диване прямо напротив, — положил клинок на ребро левой ладони, у основания перпендикулярно отогнутого большого пальца, плавно отвел назад правую руку и с феноменальной резкостью профессионала послал шпагу мне в сердце. Удар был очень сильный. Острие пробило стенку плоского серебряного портсигара в левом внутреннем кармане фрака, прошло через Гавану, но, видимо, потеряв скорость, оказалось не в силах проколоть заднюю стенку — ту, что к сердцу. Шпага упала мне на колени. Я вытирал со лба холодный пот, а Жорж кричал: «Теперь в меня, в меня, я тоже хочу!» Иван поднял с полу бокал, осушил его, и подбежавший с бутылкой Михаил Иванович вновь его наполнил.

Непоименованный вынул у меня из кармана портсигар, тщательно его осмотрел, бросил едва слышно: «Серебро серебром не берется». И, взглянув на никак не унимавшегося Жоржа, сказал с необычайной мрачностью: — «Tiens, ты не знаешь, что говоришь. Вадима не берут холодный металл и холодная вода — только огонь. Да и огонь он, я полагаю, загасит своей воздушностью. Твой главный враг — металл. А другой — опрометчивость с дамами». Потом он что-то сказал Михаилу Ивановичу по-немецки, и тот, подойдя к нам, велел Жоржу не ехать к себе и остаться у него до следующего дня.

Странно, но затем, так часов до пяти, Михаил Иванович говорил об экономической истории, упомянув в этой связи своего лейпцигского учителя Карла Бюхера и еще какого-то Лорана Моля, если я правильно запомнил. Когда я спросил его про Маркса, то он сказал, что его теория основана на фактах европейской экономической жизни середи-

ны XIX в. и может применяться только пока эти факты остаются. Но экономическая ситуация изменится гораздо быстрее, чем это предполагал Маркс, и далеко не всегда в сторону, им указанную. Вообще же он, по словам Михаила Ивановича, был мыслитель очень консервативный и упорно не желавший понять то, что Моль называл «внутренней экономической динамикой», а Бюхер «флюктуациями экономического развития». Последние он связывал с периодическими подъемами и спадами духовной энергии населения, а также вспышками массовой клаустрофобии, превращавшими тяжелых на подъем бюргеров, неповоротливых крестьян и робких ткачей в конквистадоров, ландскнехтов и просто бродяг. Что же касается России, то хотя внешне здесь все, кажется, обстоит благополучно и развитие идет очень ускоренным темпом, но за одно столетие, на которое она «опоздала», в стране накопилось столько негативной энергии, что даже быстро растущая промышленность едва ли успеет ее «канализировать».

Под самый конец он опять вернулся к Ритуалу. Совершая Ритуал, ты всякий раз прерываешь драму своей жизни и на время его исполнения полностью себя в ней забываешь, как если бы она окончилась и ты умер. Совершая Ритуал, ты одновременно исключаешь себя и из истории, как если бы ее драма также пришла к концу, а ты играешь свою вечную роль в другой пьесе, не знающей ни начала, ни конца, ни повторений, ни перерывов. Возвращаясь из Ритуала в жизнь и историю, ты способен их видеть как чужую драму и играть в них свою роль легко, как профессиональный актер на любительской сцене (он поэтому немножко презирал символистов, выдумавших себе ритуал из своей жизни и игравших в своей драме крайне любительски).

Только в Ритуале ты привыкнешь к своей смерти. Когда Иван его спросил, отчего уж он так третирует историю — как какое-то омерзительное чудовище, — тот отвечал, что в этом он, конечно, позволяет себе некоторое «педагогическое преувеличение». Что сам он, в общем, прогрессист, желающий ей благополучного хода — об исходе не может быть и речи, — но что она ему враждебна, ибо не переносит ухода от себя.

Через два дня мне телефоновал Никитич и сказал, что Жоржа нашли в его номере, в «Ривьере», с пулей в затылке. Мы дали телеграмму Михаилу Ивановичу, накануне уехавшему в Петербург. Он приехал на послезавтра и оставался в Москве до вечера дня похорон. Похороны были не синагогальные и не православные (у Жоржа была очень прогрессивная мать и отчим-лютеранин). Михаил Иванович прочел псалом 24, а Непоименованный положил в гроб перчатку. Потом пошли провожать Михаила Ивановича на вечерний поезд. В ресторане на вокзале он мне сказал, что Непоименованный, как глава Ложи, будет нас собирать раз в две-три недели и чтоб мы его предупреждали, когда будем отлучаться из Москвы. Прощаясь, он подарил мне новый серебряный портсигар со своими инициалами (прежний взял себе Непоименованный) и сказал, что в Москве в следующий раз будет не скоро и что мне необходимо запастись белыми лайковыми перчатками — класть в гроба братьям. Я заказал дюжину. Через полгода он заехал к нам по дороге в Киев. Мы вместе провели пять дней, не расставаясь ни на минуту. Разговаривали, пили, ездили по друзьям. Четыре раза совершали Ритуал, в том числе один — Посвящения. На место Этлина приняли моего однокашника по Лицею, Валентина Бродзинского.

«Вот и все, пожалуй, о нем в те дни, пока не будет нам другого случая, мой милый гость».

Пока? Я уже поднимался. А как же предательство? А как же мудрость и расчет, бесплодность лжи и бессилие правды? «Но все ж таки, — решился я, ибо чувствовал, что «пока» — это все, и другого раза не будет, — ведь не оборвалась же эта история в 1912-м. Отрезок пути, пройденный вами вместе, должен был продолжаться по крайней мере до конца 1917-го, если не дальше. Отчего же тогда такая разница во впечатлениях прежних знакомых от вас обоих? Если, конечно, не объяснять ее тем, что об исчезнувших, как и о мертвых, не принято говорить плохо, что с лихвой возмещается за счет еще живых».

Тогда мне казалось, что эта фраза была верхом такта и предоставляла собеседнику почти неограниченный выбор вариантов ответа. Сейчас мне кажется, что ею было прервано прощание и нарушено его первое правило: оставь недосказанное недосказанным в залог следующей встречи. Я сделал это в затянувшейся агонии моей юности оттого, что едва мерещившийся сюжет уже тянул меня к себе из будущего — прочь от Вадима Сергеевича и от себя самого. Ради сюжета еще и не то нарушишь.

Вадим Сергеевич допил холодный чай, раскурил, тщательно ее сначала размяв, короткую и толстую «Ромео и Джульетту» и заговорил, медленно выпуская бесплотные голубовато-серебристые колечки.

Я не мыслитель. Мне недоступны не только абстракции научного мышления, но и абстракции жизни, так сказать. Вы, возможно, и правы в своем намеке на то, что если бы я уехал до 1917-го, то по сю пору жил бы в сердцах оставшихся не сомнительной, в лучшем случае, фигурой, а рыцарем наравне с Михаилом Ивановичем. Но, в отличие от него, я любил это место. Я и сейчас его люблю.

Люблю все это — сырые дощатые стены, вечные веранды, клумбы и лужи Подмосковья, камни московских переулков, излучину Москвы-реки — все. Пока еще тлится надежда встретить давно знакомое лицо, если я только смогу различить за маской надвигающейся смерти единственность и неповторимость прежней улыбки или жеста, пока это остается, я — здесь. Время летело, не касаясь меня. В молодости я был довольно состоятелен. В зрелые и старые годы — прилично беден. Постоянно чувствуя какую-то чуть ли не мистическую убежденность, что если пропаду, то уж непременно с этим местом вместе, я никогда не вмешивался в политику. Даже в наш кратковременный политический «ренессанс» десятых не соблазнился. Просто жил здесь, не заботясь о «когда», о переменах, подъемах и спадах. Поверьте, при этом я нередко переживал происходящее, но — не заболел. Почти никогда не плакал, даже когда перчатки в гроба клал, а ведь с перчатками-то в тридцатые, как и с сигарами, становилось все труднее. Так ведь иной раз, как положу перчатку, так думаю: чего плакать-то? Ты — здесь, я — здесь, а как умру, так вместе будем и там, в другом месте. Одни смеялись над этим добродушно, как Иван, который меня «первертным фаталистом» называл. Другие подозревали, боялись, даже ненавидели. Раз мне Елена Константиновна прямо в лицо выпалила: ваша, говорит, ноншалантность оскорбительна для страдающих. Да, оскорбительна, наверное. Что делать! Становиться из человека места человеком времени было поздно.

Михаил Иванович обладал необыкновенной врожденной способностью отвлечения от места — удивительной для человека его происхождения; как-то малороссийский, with a smidgin of Tartar blood —

как любил повторять его петербургский приятель и, как и он, страстный балетоман Федор Ипполитович, — Михаил Иванович жил только во времени. Киев, Монте-Карло, Лондон, Париж, Берген, Мадагаскар — все они были для него только точками, отмечающими движение от дела к делу. А дела он имел обыкновение доводить до конца (я свои предпочитал и не начинать) — совсем не русская черта. В делах он был изящен и четок. Возможно, его крайняя индифферентность к местам была связана и с его феноменальной лингвистической одаренностью — ему было все равно, на каком языке изъясняться из тех семи-восьми, которые он знал вполне. Ритуал — его он носил с собой, в любом месте подтверждая себя Рыцарем. И все эти опережающие события символы! Мог ли он знать в 1915-м, когда занимался ликвидацией своего издательства, что не пройдет и двух лет, как он станет одним из главных ликвидаторов фирмы под названием Российская Империя, а еще через десять — превратится в одного из крупнейших в Европе профессиональных банковских ликвидаторов? И не была ли эта его профессия сама символом должной безнадежности Рыцаря Времени?

«Ну да, — раздраженно продолжал я, возвращаясь в электричке в Москву, — небось клал себе перчатку в гроб — и дело с концом. Да нет же, вздор все это! Просто мы так привыкли к тому, что сделать все равно ничего нельзя, что нам приятно думать о форме поступков других и прежних людей как о дуракавалянье. Но не это ли станет и нашей участью, да и в самом скором времени? Сами будем класть перчатки в пустые гроба, да еще и очень этим гордиться!»

Так закончился этот вечер, а с ним и мои московские поиски.

Часть вторая

То время

(документированные впечатления)*

* Документированные впечатления — это не впечатления от документально подтвержденных фактов, а впечатления, сам факт которых документально подтвержден.

«Работа с архивами, сэр, значительно облегчается многочисленными местами, вымаранными черной тушью и пропусками целых страниц».

(из беседы с помощником
хранителя Архива Британского
Министерства Иностранных дел
в Кью-Гарденз)

Глава восьмая

Веселая тень будущего

«Мне было так мучительно трудно вообразить его себе, что когда, наконец, он был уже здесь, передо мной, то никакие мнения и суждения о нем других лиц ничего не могли в нем изменить.»

Ричард Джефрис об Октавиане Августе

Это — о том, кто что сказал. Само по себе оно не существует. Его нет в молчании, как нет и молчащих.

В туманной дали незаконченного романа ведется нескончаемый разговор о предательстве. Полузабытые позиции позавчерашнего дня! Выразишь их буквально словами сегодняшнего, и выйдет базарный феномен переключки поколений. Ну что ж, опять пойдут люди, встречи, нарушенные зарок проносающейся жизни, но... А не лучше ли распроситься со всем этим легко и весело — как если бы не было в нас наследственного сифилиса серьезности от дедов с их торжественным безумием, через отцов с их бездумной значительностью. В первой части романа моя жизнь была еще единой, с ее временем — тоже одним; в ней время других было частью моего. Во второй части я покидаю это единство, что тоже своего рода отступничество. Тогда, по ходу дела, мне придется не только признать, что я — не их, но и заплатить за это признанием того, что я не свой.

1990 г. Через двадцать лет я нашел время и место писать о Михаиле Ивановиче. Правда, времени недоставало, но зато места было сколько угодно: в кафе, в архиве Форин Офиса, наконец, у себя в университете. Глубокое безразличие британской атмосферы к тому, что в ней происходит, немало способствует запоздалым литературным склонностям дилетантов.

Сначала — оговорка о различии между действующими (а точнее — говорящими) лицами первой и второй части. Все люди, с которыми я говорил в первой части, даже если говорил едва ли полчаса, даже если не говорил, но узнал о них через разговор с другими, да что там, даже если они и вовсе не были упомянуты, но жили, неупомянутые, где-то

под поверхностью разговора или витали над разговаривающими — со всеми ними я был связан. Со всеми — от молодого Алеши до старых Ховята и Никитича. И хотя последний прямо утверждал, что все это — не мое и не имеет ко мне решительно никакого отношения, но сам знал, что все равно, мое, мое, оттого и рассказывал.

Персонажи второй части в своем большинстве по необходимости — абстрактны, и оттого, по необходимости же, и мертвы. Мертвы, как гофмановские куклы, как «Балаганчик» Поэта, как «Синяя Птица» Метерлинка и Константина Сергеевича. Откуда пришло их решение быть мертвыми — так просто не узнаешь. Да и как узнать, когда непреодолима моя отделенность от них, даже от тех немногих, кто тогда не успел омертветь, по молодости, что ли. Так, одна из центральных фигур этой части, Елбановский, с которым я провел много часов, с которым не только говорил, но и пил, все равно отрезан от моего чувства жизни *там*, в России, ибо там его не было с 1919-го, так же как и от моего нынешнего чувства жизни *здесь*, в Англии, ибо он уже и здесь давно в прошлом.

Британская цивилизация веками вырабатывала свое отношение к прошлому, неперебиваемое в отношении русских к их прошлому. В Англии довлеет абсолют исторического. В России сегодняшняя ситуация всегда перекрывает историю. Отсюда, например, невозможность в Англии предательства как *темы*. Если очень старый британец, вспоминая школьного товарища по Итону или Мальборо, говорит «О, Джордж был такой хороший парень», то это значит, что он и есть хороший парень, даже если за прошедшие с их последнего матча в регби 66 лет он разорил жену, ограбил фирму и продал родину. То, чем этот Джордж был, неотменимо. В России

человек может идеально себя вести всю свою распроклятую жизнь, но если на сто первом году он сотворит какое-нибудь безобразие, то знакомые скажут: ну да, Сережа был ничего, вроде, ну, держался. Но было в нем за всем этим что-то, ну, знаете...

Эта одержимость британцев своим прошлым не столько делает жизнь в Англии чужой для русского завсегдатая, сколько превращает его в чужого самому себе. Да, я завишу от места, и здесь, во второй части, мне ничего не остается, кроме повторения себя в другом и в других, что непривычно, а иногда и просто неприлично. Тогда фразы, абзацы, да что там — целые главы летят в корзину.

Я не был готов оставить мои бесплодные поиски даже и тогда, когда порвалась последняя нить, связывающая меня с Михаилом Ивановичем. Это — не нить истории вообще, а *личной* истории каждого, у кого такая история имелась. Очнувшись после второй войны, люди первой восприняли себя как факт истории, не получившей в них завершения, на которое они рассчитывали или надеялись. Затянувшаяся весна 1945-го принесла им легкую старческую эйфорию и горы грязного снега от Темзы и Сены до Вислы и Волги. Настоящего у них не было, а прошлое осталось где-то далеко за 1939-м, не то в Москве или Петербурге, не то в Берлине или Париже. Иным — как Шульгину — пришлось немало потрудиться, чтобы не сгинуть для сомнительного будущего, а иные — как Премьер — всю оставшуюся жизнь потратили, чтобы остаться в своем еще более сомнительном прошлом. Для Михаила Ивановича прошлое потеряло смысл задолго до того, как оно кончилось. Сигналы из него задерживались или вовсе не доходили.

Один из них (последний?) пришел совсем уж неожиданно через пятнадцать лет моей (а не Ми-

хаила Ивановича) жизни в Лондоне. Приехавший в мае 1989-го в Лондон старый человек из Москвы посоветовал мне искать людей без биографий. Тех, кто не выстраивает свою жизнь по оси «до и после», но стягивает всю ее к еще не наступившему концу, к одной картине, которую они всегда носят с собой и которая всякую минуту другая. Оттого-то те, кто хотят их описать, бессильны это сделать. Мы слишком привыкли видеть человека распределенным во времени им самим, а если он этого не делает, то остается для нас невидимкой.

Нередко я слышу интонацию этих людей в моем голосе и узнаю следы их жестов в движениях моих рук. Но во мне это никогда не складывается ни во что целое. Любя их, я не могу любить себя, но любовь к ним примиряет меня с самим собой, какой я есть, — временно, конечно. Кстати, по языку они неотличимы, но на каком бы языке они ни говорили, они никогда не говорят ни на каком жаргоне. Общая культурная норма любого языка — безлична. Поэтому придерживающийся ее может говорить на *своем* языке. Любой жаргон, пусть самый элитный, всегда вульгарен из-за своей коллективности.

«Попробуйте разыскать Елбановского», — сказал мой московский посетитель, заглянув в один из своих блокнотов. «Он — не осколок прошлого, а вполне сохранившееся целое, если, конечно, это целое будет вам предоставлено живым, в чем я несколько не уверен. Справьтесь по клубам — в Сент Джеймсе, прежде всего. Не уверен, что он фигурирует под своей фамилией. Начните с Пэлл Мэлл. Но уж если так случится, что повезет, то сошлитесь на племянника некого Захара Ивановича, то есть на меня».

Там я его и нашел. За предъявлением кредитной и последующей аккредитацией в огромном

баре его клуба последовало мое «ну теперь хоть немного о Михаиле Ивановиче».

«Я ни с кем о нем не говорил лет шестьдесят», — произнес Игорь Феоктистович. — Мог бы, пожалуй, так и умереть, не поговорив — тоже беды бы не было. Но уж раз вы здесь, то почему бы и не ответить на вопросы незаинтересованного человека?» Я зажег ему сигарету и попытался его уверить, что, напротив, я очень даже заинтересован. «Да нет, я не о том, — продолжал он, — вы же не хотите туда, назад, в Петроград и Москву конца 1917-го?» — «Нет, не могу, не хочу».

«Звал ли его кто-нибудь Мишей, — спросил я, — ведь он был еще молод тогда, да и его друзья тоже?» — «Думаю, что никто. Во всяком случае, из людей мне известных. Да, вспомнил, Вадим Ховят называл его на ты и Мишель, как и я. Но это не в счет. Я слышал, что они были братья по Розенкрейцерской, а не Масонской ложе. Знакомые мне масоны, даже из одной с ним ложи, обращались к нему на Вы и Михаил Иванович». — «Неужели уже в те ранние годы он хотел отделить себя от всех остальных?» — «Пожалуй. Но главное, я думаю... — Он посмотрел на часы. — Извините меня, я немного устал и перейду на английский, — главным в нем было желание отделиться от самого себя позавчерашнего, вчерашнего, даже сегодняшнего час назад. А быть на ты, это — закрепленная связь с человеком из твоего прошлого и с тобой самим прошлым». «Но был ли он таким всегда? До тех восьми месяцев, с марта по октябрь 1917-го?»

С Игорем Феоктистовичем не поспоришь — это я понял сразу. Как спорить о том, чем он сам и был, о том времени? Отсюда абсолютность его ответов: его «пожалуй» и «возможно» были намного безусловнее моих «конечно» и «разумеется». Теперь он

растянулся на низкой кушетке со стаканом мартини. «Да о чем вы, право же? Какие-то восемь месяцев, ну прибавьте еще год скитаний... А потом — в Лондон. Словно провалился назад из будущего... прямо оттуда, где озверевшие толпы люмпенов, обезумевшие от страха обыватели, где царят голод, стужа, сыпняк и ЧК — в отель на Гровенор Сквер. Место, крайне непохожее на его прежнее, да? Да только что считать прежним, а? Он ведь и раньше там бывал, в Гровеноре, в том же отеле. Сперва ребенком, с матерью, потом в 1913-м. Так почему бы, оказавшись там опять, в 1919-м, не считать это ну... очередным приездом в свое прошлое? Не исключаю, что и до войны он мог считать своим прошлым Монако, Лондон, Лейпциг, а не только Петербург, Киев и Глухов. Не исключаю также, что он подзревал, что оно же может весьма скоро оказаться его будущим. И когда оно стало, когда я разыскал его в отеле на Гровенор Сквер, в том самом, где мы уже раз обедали в 1913-м, он бросился ко мне с протянутыми руками, но отступил и, как бы загордившись от меня, едва слышно произнес по-французски: «Игорь, умоляю, ни слова, никогда. Я не могу вернуться в мир моей памяти». Ни до, ни после он ничего подобного не говорил. Мы в тот вечер очень долго сидели за обедом — наш негласный договор уже вступил в силу. Он говорил о необходимости полностью сосредоточиться на настоящем («Помни настоящее! Помни страдание этого мгновения. Его более чем довольно для наполнения твоей жизни сейчас, чтобы помнить еще и о прежнем!»).

«Он вас учил?» — «Пожалуй, изредка. Наверное, он это делал, когда чувствовал опасность, что я нарушу наш уговор молчать о том. Сейчас мне кажется, что опасность была с его стороны, а не с моей. Он, а не я, боялся прежнего страдания — его, как и

денег, у него было намного больше, чем у меня. После обеда мы просидели за коньяком до 4-х утра (ну, как Иван с Алешей, только беседа была много длинней). Тогда-то, совсем пьяный, я и придумал свою маленькую систему. Берется твердый белый картон, из которого нарезаются маленькие, размером с визитные, карточки. Их потребуется очень много, тысячи. Каждое утро, отправляясь в библиотеку в Сити, ты набиваешь ими карманы. Потом, просматривая главные финансовые газеты и журналы мира, ты заносишь все данные о каждом сырье и продукте (commodity) на отдельную карточку. Для этого я разработал систему шифров с цифрами и буквами сверху каждой карточки, обозначающих вещь, показатель ее производства, количество готового продукта на сегодняшний день, цену в данном месте, цену на мировом рынке, и так далее. Через неделю ты раскладываешь все карточки на данный предмет на столе — и вся динамика у тебя перед глазами. То же самое за месяц, квартал и год. Очень просто. Денег у меня совсем не было. Мишель где-то достал великолепные карточки. Я работал по шестнадцать часов в сутки и через месяц мог предоставить любому торговому банку или маклерской конторе полный отчет о любом интересующем их сырье или продукте за 2—3 часа, в то время как другие консультанты тратили на это недели, за которые ситуация с данным товаром могла значительно измениться. Через четыре месяца я уже не мог справляться с сыпавшимися на меня заказами и нанял двух помощников и машинистку. А через год у меня была своя консультативная фирма, просуществовавшая двадцать девять лет. Потом я ее хорошо продал. За этот первый год Мишель, я думаю, достиг гораздо большего в своей сфере — он выполнял заказы разных

банков на изучение конъюнктуры источников дешевого сырья, главным образом, в Африке и Южной Америке. Тут сказалась разница в образовании. Он все-таки окончил по экономической науке в Лейпциге, а я — Николаевское Кавалерийское. Кроме того, уже тогда он знал языков шесть-семь, а я едва три. Но все равно, это было славное начало. Когда наступил крах конца двадцатых, а потом страшный застой, мы оказались в числе тех немногих, кому не грозило разорение, — мы торговали *знанием*, а не товарами или бумагами, а знание не обесценилось. Напротив, оно стало нужнее, чем когда-либо».

«Простите мне мою дерзость, — сказал я, — вы и есть тот самый легендарный Золотой Игорь фондовой биржи двадцатых годов?» — «Да, но заметьте — сам я никогда на бирже не играл. Считаю это неприличным, как гинекологу заводить романы с пациентками». — «А был ли Михаил Иванович игроком?» — «До 1914-го — безусловно. Потом, по моему, он никогда не играл. Ни в казино, ни на бирже, хотя поручиться не могу. Он испугался Облака Возмездия (The Cloud of Retribution)». — «Что?!»

Лакей пришел звать к обеду. Игорь Феоктистович сказал, что уже десять лет, как не ест после четырех, и я, не желая прерывать беседу, попросил принести нам в бар блюдо с легкими закусками и заказал еще мартини для него и себе водки. «Облако Возмездия — это не о грехе и добродетели. Это — об удовольствии и страдании, о счастье — несчастье, о продлении извечного дуализма «да» и «нет» в бесконечности космического бытия через конечность индивидуальных жизней. Как содеянное тобой добро не компенсирует содеянного тобой зла, но накапливается отдельно в космическом балансе, так и испытываемое тобой наслаждение ждет себе темного противовеса. Их неравновесие воз-

растает, грозя удачливому неудачей и неуязвленному уязвлением. Это накопление неравновесия и есть Облако Возмездия. Такова двойная бухгалтерия жизни личности. Но здесь следует быть осторожным». — «Но это же — манихеизм!» — не удержался я. «Да, — согласился он, — но что из того? Не может быть рыцаря в мире доброты и милосердия. Рыцарь всегда — остров доблести и самопожертвования в море скотства и себялюбия. Он страдает по обету. Его радость от выполненной клятвы — не воздаяние, а существует особо. Плотское наслаждение от обладания женщиной само по себе не нарушает этого баланса. Но если рыцарь, обожая прекрасную даму, в то же время наслаждается и прельстительной простолюдинкой, то это может нарушить баланс, и он в страхе ожидает, как Облако Возмездия уронит на его голову свинцовые капли своего дождя. О Мишеле можно было бы сказать, что его неизменная удачливость в делах денежных не была компенсацией его чисто личных неприятностей, а подчинялась совсем другим правилам. Но его игра, также неизменно успешная, грозила нарушением баланса удачи — неудачи».

— «Он это все сам вам говорил?» — «Да, и притом не раз». — «Но вы не были членом его розенкрейцерской ложи?» — «О нет, это было полностью исключено». — «Но почему же?» — «У меня не было той уверенности в собственном бытии, которая, я думаю, требовалась от поступающих, и это вне зависимости от их удачливости, ума или склада характера». — «А была ли такая самодостаточность личности у всех членов его ложи, у Вадима, например?» — «У Вадима — да. У Жоржа Этлина, пожалуй, тоже. А вот про Бьюкенена сказать ничего не могу, никогда его не видел». — «Бьюкенен? Британский посол?» — «А чего ж здесь такого? О нем французс-

кий посол Нуланс говорил, что он единственный из друзей Мишеля — не масон. Так он и не был масоном, но стал членом той особой и вовсе не масонской ложи, которую Мишель основал в Москве».

«Так что же, — захотел сыронизировать я, — он просто испугался за честь, свою и своих друзей, и пытался сохранить ее в своей маленькой московской ложе, как последние тамплиеры, хранившие сокровища своего ордена на маленьком средиземноморском острове?» — «Испугался? Скажите лучше — ужаснулся. Уже в начале десятых он стал видеть *новых людей*. Новое выражение лиц, новую усмешку, новое возбуждение, новую серьезность. Бедный Достоевский, — восклицал он. — Свидригайлов, Смердяков, Верховенский, да все они — сущие дети по сравнению с... Дягилевым, с одним взглядом Дягилева». Дело было, конечно, не в Дягилеве. Просто Мишелю был нужен образ — из своего мира. Он тогда ведал балетом. «Рыцарь, — говорил он друзьям и братьям по ложе, — это — *невинный человек*. Невинность — его основа, поэтому он и есть рыцарь. А дальше, если он рыцарь без страха и упрека, то он — лучший рыцарь, а если отступил или солгал, то — худший. Но все в нем, и хорошее и плохое, возведено на невинности. Когда к невинности прибавляются рыцарские клятвы и обеты, то человек становится рыцарем формально, хорошим или плохим. Но без изначальной невинности сердца он никогда им не станет». Я не знал его в Москве и не понимал, что там происходило. Сейчас мне думается — или это вы наводите меня на эту мысль — что уже в 1912-м Мишель точно знал, что все равно ничего не выйдет, и пусть хоть одиночки выживут невинными».

«Но должен же он был видеть какую-то объективную связь событий, знаки и образы которых приво-

дили его в отчаяние?» — «Мишель не видел этой связи, когда в этих событиях жил. И жил в них, когда они еще не случились. И был в отчаянии от них, еще не случившихся. И видел в глазах знакомых и незнакомых ему людей, будь то в театре или ресторане, в поезде из Москвы в Петербург или в поезде из Лейпцига во Франкфурт, видел везде одно — тупость. Тупость к отчаянию, которая у всех этих людей заменяла отчаяние и, возможно, спасала их от него. Потом тупость в их глазах сменилась страхом, ужасом, дикой злобой, но никогда не переживали они *сознательного страдания*, которое одно только и могло бы вернуть их к памяти о самих себе и пробудить их от дурного сна выдуманной ими же самими истории. Выдуманной примитивно и безвкусно. И таковыми оказались даже самые талантливые из них, даже Александр Александрович, хотя Мишель любил его тогда, как никого другого».

«Прекрасно, — сказал я. — Разумеется, смешно обороняться от Стены Незнания. От стены не обороняются — ее пробивают». — «Ну, это можно вообразить и по-вашему, — с некоторым сомнением произнес Елбановский, — да только у стены-то этой, как и у всякой, две стороны. И не является ли тупость встречающего вас взгляда оборотной стороной недостаточной остроты вашего? Да и стену-то не пробивают, через нее проходят. Точнее, она оказывается за вашей спиной».

«Откуда мне его понять, — сказал я. — Одно страдание не дает ключа к пониманию». — «Почему же не дает? — тихо возразил Елбановский. — Позвольте мне добавить, я — человек не страдающий. Если не говорить о пустяках, почти не страдавший. Ну, в детстве, разве что, немного. Но я понимал Мишеля интимно, по-семейному, как дорогого старшего брата да, пожалуй, и наставника. Вы ему совсем чужой

по эпохе, страсти, жизни. Но вы, если я верно вас вижу, — вообще чужой, чужой чему угодно, каким, мне кажется, был и он. Вот вам и общая почва — чуждость. Она-то вас на него и навела, да и на меня тоже».

Бар закрывался, и он предложил мне переключиться в его номер в клубной гостинице. Чтобы закончить нескончаемый разговор. В огромной холодной викторианской комнате, необживаемой до окончания века, с неопишимо неудобным для сидения (up-seat-on-able) диваном!

«А вы примиритесь, — ласково посоветовал Игорь Феоктистович, — мне ведь тоже нелегко было две трети жизни проходить через чужое время, my dear boy. Но у нас-то с Мишелем так получилось, а вы себе сами все это придумали. Рассчитывали, небось, что только место перемените, а? Не тут-то было, ведь «только» никогда не выходит, а?»

«Мишель хотел ходить по земле, не ступая по ней, и не мечтал о компаньонах. Его «собственный», так сказать, орден был для него легким делом — так, по крайней мере, он мне говорил. Отчаяние не прижимало его к земле. А так, что тропический лес на Мадагаскаре, что аллеи Венсенского дворца — ему было все равно. Ну что ж, если ваш выбор — стать его посмертным компаньоном, то — доброго вам пути. Не в Мозамбик, пожалуй, а, скажем, в Швецию или Норвегию. Оттуда начались его легкие «скитания-не-скитания».

«Мне чуть-чуть страшно, сам не знаю почему», — сказал я. «А это прекрасно известно, почему. Вы очень боитесь оторваться, когда вас и так зовут со всех сторон». — «Куда зовут — оторваться или остаться?» — «Да в обе стороны, my dear pal».

[Письмо одной из «сторон» лежало у меня в кармане. «Мой милый, мой дорогой, — звучал незапи-

санный голос, — возвратись, не иди туда. Твоя неприязнь к прошлому — грех и ошибка. Ты боишься умереть вместе со мной, наивно и тщетно надеясь, что без меня не умрешь совсем. Да, я твое прекрасное прошлое. Кончи жизнь со мной, я жду, ведь пора пришла. Не ищи предлогов, чтоб не возвращаться. Нет ничего хуже, чем неоконченное прошлое...»]

«О'кэй, — сказал я, — я поеду». Мы простились.

Так случилось мое включение в его лондонские обстоятельства. Но опять же без единого факта, прямо относящегося к его последующей жизни. Вот вам первая после России встреча с Елбановским в Гровенор Отеле в 1919-м, и вот вам последняя — на его похоронах в 1956-м в Монако. А между ними — тридцать семь лет удачи и тоски. И ни тебе серебряной шпаги, не пронзившей сердце молодого розенкрейцера, ни ясных, легко запоминающихся слов надежды и отчаяния, ни туманных угроз надвигавшегося на него будущего. Ну что ж, в Швецию, так в Швецию.

Страна туманов, гонимых южными ветрами, и добрых, крепких береговых крепостей (по выражению Сведенборга), встретила меня в девять вечера холодным северным ветром. Однако рассказ о ней оказался отложенным на много лет и... страниц романа.

1993 г. Ноябрь. Не жалко, что узнал конец до того, как успел его выдумать. За эту часть романа я принялся, как только написал первую, по инерции, оставшейся от начального московского порыва. Игра сознания, неосознанная действующими лицами первой части — да и мной самим, ее единственным не-невольным участником, — не могла продолжаться за пределами их жизни и моей юности. Середину можно было писать, только узнав конец. Конец, как предел наблюдаемости, как пустая смот-

ровая площадка, которая сама себя не видит, но, предоставив себя видящему, даст исход середине. Таким концом оказался Петр Михайлович (Пьер), старший сын Михаила Ивановича от первого брака. После первой и, безусловно, последней встречи с ним 14-го ноября 1993-го г., я бежал в тоске и отчаянии к вокзалу Чаринг Кросс.

Ну, хорошо, он приехал из Парижа в Лондон, чтобы услышать от *меня* о *своем* отце — нешуточное ведь дело! Рано выйдя в отставку с поста президента одного из крупнейших французских химических концернов, он решил посвятить себя делам семейным. То есть, как он сам выразился — собственным капиталовложениям, чтобы обеспечить детей и внуков, и генеалогическим разысканиям, чтобы тех же детей и внуков обеспечить исторически, так сказать. Мечтая о встрече с ним, я надеялся поставить точку: вот вам последний живой отпрыск моего героя, и вот вам последний разговор, проясняющий середину романа и, одновременно, самим своим фактом этот роман завершающий. Тогда все, что мне останется, это — идти спать или доучивать тибетский.

Разговор! Четыре битых часа по горло в тряси-не, со ртом, набитым болотной ряской. Скромное достоинство всем обязанного только самому себе простого и талантливого человека, с грустным величием кариатида слагающего с себя ношу. Тот предел, за которым тупость перестает быть чертой характера и становится метафизической сущностью. Тот почти божественный абсолюте незнания, когда знание невозможно просто из-за отсутствия его субъекта. Он сообщил мне что, как и отец, он очень одарен музыкально, обладает незаурядной деловой сметкой и целиком предан своей семье. Я смотрел на едва заметную из-за оплытости щек

линию от уголков рта до подбородка — как у его отца на головинском портрете, — словно перенесенную безразличной рукой на безжизненную копию, и умирал от досады за оригинал.

На платформе досада прошла. Пьер и есть сюжет. Не катастрофическое его завершение, а единственное реальное его начало в необходимости обратного движения. Непоколебимый Пьер был стороной отчаяния молодого Михаила Ивановича задолго до своего зачатия, когда тот, глядя в пустые прекрасные глаза своей смерти, уже видел в них обоих своих сыновей. Так в жизни, как и в романе, уяс уступает место самокомментированию.

Пьер и младший, Иван, расположились бы вполне комфортабельно по сторонам парасимметрической оси жизни своего отца, спокойно продвигаясь вдоль нее параллельно друг другу, если бы не «биографический радикализм» Михаила Ивановича (сродни его радикализму политическому): старший сын был сразу же им отброшен в бесповоротно отринутое прошлое юности, войны и России, а младший до конца оставался «подвешенным» в зыбком чужеродном будущем другой войны и другого мира.

Во всем этом мне не видится никакого противоречия. Просто жил человек, одаренный талантом, богатством и удачей. Любя свой мир, он знал, что этот мир несет в себе условия своего собственного уничтожения. И что, хотя конец неизбежен и близок, можно все ж-таки, попытаться что-то из него сохранить для мира следующего, чтобы тому не пришлось начинать все заново, с полного скотства и беспамятства. Так что Михаил Иванович мог бы даже считаться своего рода духовным оптимистом — отсюда и ранние его «духовные» же приключения в Москве и Петербурге. Однако в тот же период случившиеся с ним крайне личные события и

обстоятельства заставили его увидеть и в себе самом те же признаки наступающей катастрофы, которые он видел вокруг.

Пока же — пока еще не родились в тот «новый» мир ни тяжелый, непроницаемый Пьер, ни зефирно-легкий до всепроницаемости Иван, — возвратимся в фантазмагорический Петербург десятых годов ныне завершающегося века, назад — в «хорошее и глупое» время Поэта.

Глава десятая

**Хорошее и глупое
время поэта**

«Я еще хотел сказать о цели предостережения...»

Б. Пастернак

Наиболее известный Михаил Иванович, петербургско-петроградский, остается за пределами моего воображения. Когда пытаешься думать о нем «по источникам», пропадает не только интонация (моя, а не его), но и сам сюжет рефлексивного романа. Сюжетное действие разворачивается по оси «наблюдение — действие», где «наблюдатель» и «действователь» являются не только двумя противоположными сценическими характерами (*dramatis personae*), но и, что гораздо важнее, двумя полюсами меня самого. Мне ли не знать, сколь быстро рождающийся во мне импульс к действию вырождается в отстраненность наблюдения, словно бесильно уступая врожденному страху поражения и желанию пересидеть на нейтральной территории время решающего сражения. Я не могу быть только наблюдателем, а он — как я думаю теперь — не мог им быть вообще. Мое действие кончилось. Сюжет остановился и замер.

1991 г. 21-е января. Вчера моему отцу исполнилось девяносто три года. Сын Михаила Ивановича от второго брака, Иван, умер в Каннах четыре недели назад. Он похоронен в Монте Карло рядом с отцом, бабушкой и тетками. Его вдова позвонила мне накануне нового Рождества после похорон, так что было уже поздно туда лететь.

Итак, опять — с конца. Конец, это — смерть. Чужая смерть — это внешний бессодержательный акт, в отношении к самому умершему, разумеется. Здесь это все тот же некролог в «Таймсе» от 3-го апреля 1956 г. От него мы и будем двигаться вспять.

«...обстоятельства и условия эмигрантской жизни, которые бы легко сломили менее сильного человека, в его случае лишь послужили к торжеству его воли и характера... Рожденный несметно богатым, он... потерял буквально все, но упорным тру-

дом, талантом и силой воли опять пробил себе путь к богатству и влиянию... Его смерть — большая потеря для финансовых кругов Европы».

Подвал Лондонской Библиотеки на Сент Джеймс Сквер. Я ставлю на место огромный фолиант со старыми номерами «Таймса» и... перехожу к «несмыаемым слезами» строкам Поэта: «7-е января 1919 г. Рождество. Решаясь включить в сборник «Театр» свою пьесу..., из которой я стараюсь выкинуть все уж очень глупое (хорошего и глупого времени произведение), я окончательно освобождаюсь от воли Михаила Ивановича... Мы с ним в свое время загнипотизировали друг друга искусством. Если бы так шло дальше, мы ушли бы в этот бездонный колодезь; оно — искусство — увело бы нас туда; заставило бы забраковать не только *все-го меня*, а и все; и остались бы: три штриха рисунка Микеланджело, строка Эсхила — и все; кругом пусто, веревка на шею».

Цитата, сколь ни далека она по содержанию и тону от некролога в «Таймсе», вполне могла бы оказаться некрологом Михаила Ивановича, хотя и с опозданием на год, что иногда случается. Ведь ровно за год до того, 7-го января 1918 г., Поэт записал: «убиты (в больнице) Шингарев и Кокошкин... слухи об убийстве Родичева (Церетели?), Черепова... слух об убийстве Михаила Ивановича...» Делая эту запись, Поэт безусловно не знал, что за день до того Михаил Иванович ушел — я подчеркиваю, *не бежал* — из Петропавловской крепости. Думаю, что и год спустя Поэт, делая свою вторую запись, не знал, жив ли тот или нет.

Не странно ли? Юный богач и денди 1900-х, светский балетоман, издатель-дилетант и неопределенный политик начала 1910-х, неудачливый — оставим это пока так — министр первого в русской

истории ответственного (перед кем? — это тоже пока придется оставить) правительства в 1917-м и талантливый и вполне удачливый европейский финансист в 20-х и 30-х, оказался человеком, навязавшим Поэту свою эстетическую концепцию.

А именно, что истинное в искусстве — это тот уже ни к чему несводимый «остаток», тот феноменальный конечный «удар», к которому сводится все. Один штрих, одна строка, одно движение — если их нет, то нет *ничего*. Тогда труд, талант, порыв, все — ничто. И сам художник, бессильный в своей привязанности ко времени, тоже — ничто.

Истинное искусство — рыцарское занятие и подчиняется не «требованиям действительности», а обетам, принятым художником-рыцарем. Эти вечные обеты отторгают его от времени и возвращают к вечной, вне- и пред-временной невинности и красоте. Художник сражается со временем, и то, что он *есть*, это то, что осталось от его частых поражений и редких побед.

Когда Поэт в 1912-м показал Михаилу Ивановичу набросок своей пьесы, тот ее решительно забраковал именно за привязанность ко времени. Может быть, в начале 1919-го Поэт просто испугался, что, пользуясь эстетическими критериями Михаила Ивановича, он сам себя целиком забракует. Иначе говоря, испугался своего авто-некролога. Теперь, решив издать «Песнь Судьбы» и забыть на время, или навсегда, о «Розе и Кресте», он надеялся задержать свое падение в бездонный колодезь — чего? — ну, скажем, чистого искусства или... жизни в Петрограде. Петроград 1919-го не располагал его обитателей к чрезмерной метафоричности, хотя иных она утешала, а иным заменяла рефлексию. Когда в начале января 1918-го озверевшая матросня убила Шингарева и Кокошкина в тюремной боль-

нице, Поэту, пожалуй, еще могло казаться, что это — «другое дело» (он же — не обыватель!). Но в январе 1919-го в колодезь падал он сам, и 1913 год, проведенный им с Михаилом Ивановичем, теперь казался первой склизкой ступенькой вниз... Странная была эта дружба.

В 1912-м так не казалось. И вообще, «ступенька» — не только избитая метафора падения, но и совершенно ложный образ: падают сразу. Только не сразу знают об этом. Тогда «ступенька» — вполне правомерная метафора постепенности нашего знания о собственном падении. Но не явилась ли внезапно вспыхнувшая любовь Поэта к Михаилу Ивановичу последним препятствием — а вовсе не первой ступенькой — к неведению о себе одного и отчаянию другого? Но тут была одна очень важная разница между ними: ни один шаг Поэта — как ни один шаг его знаменитых современников, Кафки и Рильке, — не остался неотмеченным в письмах, дневниках и другого рода записях. Михаил Иванович — *не писал*.

Если герой Романа Самосознания действитель, то и наблюдая, он действует («он сгорал в наблюдении», как позже говорил о нем Елбановский). Именно это «выгорание» порождало иллюзию деятельности, почти всегда успешной. Успешной потому, что он настолько точно знал, что он делает, что само это знание уже было действием. И потому же, когда оно уступало настояниям чувства, то не оставалось ничего, кроме голой ошибки. Писать для такого человека было бы равнозначно совсем уже лишнему действию, заранее обреченному на неудачу. Писали другие: Поэт и его друзья. Но они не писали Роман Самосознания.

Схема европейского Романа Самосознания (другого пока не было, это — весьма узкий геогра-

фически жанр) очень проста. Его герой оттого и герой, что сам не пишет романа. А если пишет, то не напишет. А если напишет, то не напечатает. А если даже и напечатает, то весь тираж сгорит или размокнет во время наводнения, или еще чего-нибудь в этом роде. Писание романа здесь есть тот бытийный, а не психологический признак, который разделяет Героя и Автора. Автор оттого и автор, что не может писать сам, пока не он, а *другой*, т. е. герой Романа Самосознания не «начнет» этого делать (но не наоборот — здесь, как и в случае с двойником, нет симметрии!).

Михаил Иванович сам был героем своего ненаписанного романа. Не отсюда ли — в порядке поэтической метонимии жизни — его неожиданное решение начать новое, «совсем новое» издательство? И не отсюда ли его идея искусства — не «чистого», не «искусства для искусства», а *истинного*, одного без другого? Но так или иначе, а в 1912-м происходит его первая встреча с Поэтом, и начинается их любовь.

Все это пока — не об именах. Имя включается в игру только когда играющий знает, что проиграл, или решает, что игра не стоит свеч. Он уходит и — *называет себя*. А так, если ты остаешься с ними, с нами, со своими, то имя — зачем, к чему? Тупые, бездарные игроки начала века, выбившие огнем, свинцом и газом чуть ли не треть мужского населения Европы и сами выбитые едва ли не до последнего — не от того ли их пристрастие к псевдонимам, партийным кличкам и смене имен, что конец им был заранее предсказан в бирках с номерами вместо имен, перемешанных с обломками костей в мусоре и пепле? Но наихудшей была доля тех немногих выживших игроков, кто, не подозревая, что их игра давно кончена и давно начата дру-

гая, безымянные маялись по чужим им десятилетиям. Призраки, напялившие на себя полковничьи и генеральские мундиры давно разбитых или никогда не существовавших армий! Еще позднее, когда сжатая с немыслимой силой пружина истории разжалась и выбросила их в смерть, кого почетными пенсионерами, кого военными преступниками, а кого и нобелевскими лауреатами, их выцветшие, перепутанные имена всплыли, как вешки, над мутными водами забвения, никого не предостерегая, ни о чем не напоминая.

Михаил Иванович родился с именем, абсолютная неотменяемость и несменяемость которого была предопределена уникальностью обстоятельств его рождения. Единственному сыну в третьем поколении знаменитых богачей-самородков, еще в юности потерявшему отца, оставалось одно — выбирать из чего угодно и делать решительно что угодно. Но кроме его богатства было и то, что при любом выборе и в любой игре оставалось навечно отложенным основным капиталом: семья, состояние, страна. Игр тоже было три: просто игра — в рулетку, реже — в винт и покер, любовь и политика. В последней все много неопределеннее, чем в первых двух, и метафорой едва ли отделаешься, но посмотрим, у нас еще есть время. Но так ли уж его было много у него самого? Век торопил с предательством. Не тогда ли этот молодой человек принял три завета. Первый — парировать страсть к игре крайней скрупулезностью в делах. Второй — умерять влечение к женщине преданностью искусству. Третий — облагораживать политическую сумятицу верностью рыцарским идеалам невинности и чести. Спасла ли его от падения эта перевернутая Брюсовская формула? Да и спасла ли от падения самого Брюсова его неперевернутая? Но, как заветы

Валерия Павловича молодому поэту даже при их выполнении никак не могли гарантировать качества поэзии, так и заветы Михаила Ивановича себе самому не могли ему дать ни малейшей гарантии покая или хотя бы, воли...

В отличие от Поэта он редко разочаровывался. Совсем недолгой была его замороженность жизнью. Его имя не гремело, как имя Поэта, «в легком щелканьи ночных копыт», а трещало неотесанной доской по выщербленному полу амбара. [Когда в 1931 г. на приеме у князя Монако Михаил Иванович представил одного американского приятеля своей красавице-сестре, тот, думая, что она носит свою девичью фамилию, пожаловался, что как ни трудно эту фамилию произносить, ее написание (spelling) уж вовсе немыслимо. На что Михаил Иванович ответил: «Друг мой, забудьте о написании, а произношение очень простое — княгиня Лейхтенберг».]

Так я ввожу Поэта. Посредством имени. Да, я просто не люблю всего этого — Поэта, жену Поэта, друзей Поэта, врагов Поэта, время Поэта. Без Поэта, однако, обойтись совершенно невозможно, так что, всякий раз пиша о нем, мне приходится проходить через стену собственной чуждости. Михаил Иванович Поэта любил. А в ранние годы очень любил. А когда совсем разлюбил, то произошло это в обстоятельствах, для него и Поэта (как и для очень многих других) столь крайних, что уж вряд ли могло иметь хоть какое-то значение для их жизни. А для смерти? Назвал ли один из них имя другого в свой смертный час?

Пока же, в 1912-м, они почти не расстаются. Их отрывали друг от друга только срочные деловые поездки и простуды одного и зубная боль другого (аллюзия на «зубную боль в сердце» у Гейне или неосознанный параллелизм «физиологических»

метафор у обоих?). Когда не виделись, то долго говорили по телефону и обменивались телеграммами. А так Михаил Иванович неутомимо катал Поэта, одного или с Ремизовым, «на острова», «на Стрелку», ходили в оперу, на Станиславского. Еще — и это было отменно неблагодарным занятием — пытались встретиться с Глазуновым насчет постановки будущего балета (или оперы, или чего угодно) Поэта, «Роза и Крест». Возможно, что именно недоступность Глазунова, встретиться с которым было много труднее, чем с министром двора или обер-прокурором Святейшего Синода, предопределила последующее превращение либретто (теперь определенно — оперы) в пьесу, о которой необходимо было говорить. Точнее, обсуждая которую, они говорили и о другом, о себе, например. Еще точнее — о падении и *поражении* — последнее уже было «кларистически» сформулировано, Михаилом Ивановичем, во всяком случае.

Поэт страшился угрозы падения и туманно заклинал будущее, предрекая радостные катаклизмы 20-х (как бы не так!). Михаил Иванович знал (уже тогда — не фантастично ли?), что дело, в первую очередь, в поражении. Что оно — не в угрозах и не в обещаниях того же будущего. Что уж лучше, даже жалуясь и отводя душу, помнить о поражении как об изначальном условии своего личного существования. И что падение — твой ответ, возможный, необязательный, на невыносимость страха поражения.

В символистском ренессансе своей затянувшейся юности Поэт зависил свои ставки настолько, что не только друзья (которым виднее), но и он сам знал, что падение уже — факт. Обожаемая, как богиня, жена, была должна, вынуждена обернуться шлюхой, а была она просто дамой, играющей устало свою роль в невозобновленном спектакле. Поэтически

рассеянная жизнь Поэта — человека по характеру несколько не рассеянного, скорее аккуратиста и педанта — должна была оказаться систематическим блядством с нередкими срывами в тяжелое пьянство.

В своей личной жизни (в другой — это вопрос особый) Михаил Иванович ничего не выдумывал ни о себе, ни, упаси Боже, о близких. Прирожденный финансист и почти профессиональный игрок, он не был склонен ни к завышению ставок, ни, менее всего, к символизации своих выигрышей или проигрышей. Его личная ситуация, «обратно симметричная» ситуации Поэта, не была им самим выдумана. Так случилось.

В казино в Каннах в тот распроклятый вечер 8-го марта 1909-го он играл напротив своего кузена Андрея Рогастова. В части зала, отделенной от играющих кадками с пальмами и цветочными вазами, ходили парами и в одиночку красивые молодые женщины («оранжерея самых дорогих проституток во Франции», — рассказывал мне Иван, передавая со слов отца эту историю). Женщина, стоявшая напротив их стола, была ослепительно красива. Она не нуждалась в паре. «Никогда ее раньше здесь не видел, — сказал Рогастов, — она на тебя смотрит. Сыграем — кто первый выиграет, с тем она сегодня и будет. Идет, Мишенька?» Выиграл Михаил Иванович. Продолжение этой более типичной по своему началу, чем по завершению, истории можно видеть в его намеках и полупризнаниях Поэту. (Иван считал, что тот выигрыш в казино обошелся отцу слишком уж дорого — проиграть было бы много выгодней.) Пьеретта родила ему дочь Анетту в 1912-м, а через пять лет сына Пьера.

Но ведь ерунда все это! Так глава идти не может. Ни одного разговора интересного. Просто — хорошо документированная чушь. Тут, однако, не

лишним было бы заметить, что мы-то Михаила Ивановича другим, то есть без этой чуши, никогда и не знали, ни в Москве, ни в Петербурге.

Пока что он ездит в Канны, наезжает в Лондон, Христианию и Москву, где все более увлекается последней идеей Станиславского — об актере, которому дается канва, схема, ось сюжета пьесы, а слова и жесты он находит сам. Он даже почти решил поступить в его студию и звал с собой Поэта. В Петербурге он «грустный и расстроенный, — пишет Поэт матери, — это украшает его согласно обычаям христианского мира, в котором вот уже 1912 лет людей украшают главным образом неприятности». Поэт сам грустен и расстроен — в июле утонул Сапунов.

В конце их решающей беседы Михаил Иванович сказал: «Я не понимаю людей, которые после «Тристана влюбляются».

Поэт, по его собственному выражению, «споря, не спорил». Спорил, потому, что «...знал когда-то нечто большее, чем искусство, то есть не бесконечность, неведомо о чем, по ту сторону всего, а конец; не гибель, а полноту спасения». Не спорил потому, что то, что знал, потерял. Потому, что — пал. Теперь живет «...как художник... не тем, что наполняет жизнь, а тем, что ее делает черной, страшной, тем, что для меня отчаяние и ужас, а для других — радость...»

Поэт не верил в изначальность своего падения; знал и... потерял. Было дано, потом отнято. Возможно, здесь не было проявлено снисхождения. Он и не просит снисхождения. Его мучает не потеря Светлого Знания, а его «новое» черное знание» («...за бесконечностью искусства — черная бездна»).

А Михаила Ивановича мучает его незнание. Никогда не знал («Стена Незнания»). Хоть и предан одному искусству, не знает и искусства (Поэт — зна-

ет). Остается любителем с одной истиной об одном искусстве. А жизнь? Но в отличие от Поэта он никогда бы не согласился с тем, что она не оставляет ему выбора. Если ты *можешь* влюбиться после «Тристана», то Бог тебе судья. Но он сам видел «Тристана» десятки раз, а не только тогда, в 1906-м в Петербурге, когда премьерой дирижировал Направник и впервые встретились Кузмин и Сапунов. «Тристан» для Михаила Ивановича, как и для Кузмина, был ристалищем, битвой, всегда последней, между плотской любовью к женщине и любовью небесной. Очищающим ритуалом. «Тристан» — это проверка горящего в тебе огня противоборствующей силой водной стихии. Словом, или ты, «пробив лед», выйдешь «сухим из воды» (как кузминская форель), или тебя захлестнет волна низкой похоти. Ждавшая еще двадцать лет своего поэтического воплощения кузминская метафора оказалась полуметафорой: «вышедший» на Кузмина на «Тристане», Николай Сапунов утонул, катаясь в лодке с женщиной, в которую был влюблен, и с влюбленным в него Кузминым — поражение Кузмина, дерзнувшего отождествить любовь однополую с небесной.

Кузмин, однако, был вполне самодостаточным и не нуждался в помощи сверхъестественных сил. Поражение не было для него проблемой. Он умер, сколь это ни дико звучит, победителем. Ни Поэт, ни Михаил Иванович самодостаточны не были. Встречаясь, они делились опытом поражения. Только к Поэту оно пришло после победы бескрылой, а Михаил Иванович нес его в себе вместе с несметным богатством, мечтой об искусстве и непреоборимой чувственностью. В отличие от Сапунова он был — и астрологически, и алхимически — человеком водной стихии. Часами плавал на спине, не выпуская изо рта сигареты.

Теперь, разговаривая с Поэтом, Михаил Иванович хочет себя *определить* — вторая фаза в развитии их любви (первая — раскрыться, то есть устранить предел, границу между собой и другим). Когда же сближение дошло до «мой дорогой» и «крепко Вас целую» (в телеграммах из Канн, Парижа и Лондона), то настало время объяснить Поэту свою отграниченность от многого того, с чем Поэт жил и чем он в некотором роде и был.

Со всеми своими двадцатью пятью социальными, коммерческими, эстетическими и так далее ликами, Михаил Иванович был натурой гораздо менее интровертной и замкнутой, чем Поэт. Да, как и Поэт, просыпаясь в простуде, кори, гриппу или просто так, он был в ужасе от наступившего дня. Но уже выпив первую чашку кофе и поцеловав сестер (и мать, если в Каннах), он легким шагом проходил по паркетам и коврам сегодняшнего дня вместе с парившей над ним мечтой о легкости. У Поэта не было ни легкости, ни мечты о ней. Он никого не целовал с любовью. Любил всегда — тяжело, как тяжело и пил. Тяжело выносил себя наружу, перед другими, даже самыми близкими — чтобы освободиться, а не определиться. У Михаила Ивановича определенность была платой за легкость.

Он говорит Поэту о любви к сестрам и матери и о страсти (не называя имени), превратившей его семейную жизнь в одну большую неприятность. О других неприятностях (тоже без имен и обстоятельств) — непоправимых. Теперь, продолжая жить, он и «...задвигает некоторые дверцы с тем, чтобы никогда не отпирать; если отпереть, только одно остается — спиваться. Средство не отпирать, одно — не оставлять свободных минут в жизни, занять ее всю своими и чужими делами». Поэт начинает понимать, что только что основанное Михаилом

Ивановичем издательство (через неделю освящение и молебен) — не «детище» его, а одно из его «чужих» дел. Им, Поэту и ему, надо уйти от «своих», от «своего», от «все о себе», от вечной первой мысли, когда просыпаешься.

Михаил Иванович очертил вокруг себя «магический круг чуждости»: Брюсов не поэт; Бальмонта не знает; у Белого глаза юркие (хотя «Голубь» ему очень нравился); в русских нет своего достоинства (то же и евреи); во всем, как и в поэзии, бездна эгоизма и самопотакательства. И еще — хроническая мания величия. Всегда отождествление себя с великой целью, великой идеей или, хуже всего, с великим страданием. Русский не способен понять, что страдание, великое или какое угодно, — просто оплата текущих расходов. На долги не жалуются — их платят. И неоплатные в том числе: тогда умираешь в долгах (он опасался, что с ним так и случится). Оттого читать ну, Леонида Андреева, например, так противно. Бродячая Собака вызывала у него такое же отвращение, как и бордели в современной русской литературе. Бордель сам по себе не плох и не хорош, но не надо совкуплять его с искусством (в этом даже Поэт был с ним согласен).

Но самое страшное — религия «этих людей». Снова и снова повторяя, «я нерелигиозен», Михаил Иванович расчищал «нейтральную полосу» между собой и ими, даже Поэтом. Как человек масонски-рациональный он скорее предпочитал прозрачный имморализм Кузмина туманности религиозных подтекстов символистов (слишком уж свальным грехом отдает) и вульгарному богостроительству начала века: истинное искусство не знает другой религии («в нем спит религия», — замечает Поэт).

Странный был у них обмен. Поэт жалуется: «Роза и Крест» почти закончена, а конца судьбы

Бертрана он не знает. Да и вообще, трудно разобраться в «спутанном символизме» пьесы. Михаил Иванович пьет чай с Поэтом (вместе они, кажется, никогда и не пили ничего другого) и рассказывает о своих «Розе и Кресте» — символах духа, не «спутанных для красоты» (то есть искусства), а соединенных в одно в сердце рыцаря, как соединены в одно счастье-несчастье-радость-страдание в сердце Казтана. Сапунов не выжиг огнем духа страсть к женщине, и его огонь загасила волна стихии. Поэт и не мог знать «конца» Бертрана, потому что он не хотел знать *свою* смерть. Казтан, сухой и легкий, поет свою песню и уходит, а не умирает. Это Поэту от Михаила Ивановича — роли на выбор. Поэт выбрал Бертрана и умер, а Михаил Иванович ушел. Ему было тяжело среди «своих» Поэта, составлявших как бы свой орден. Он не хотел никаких «как бы», видя в них готовность к смешению («опять охотники до свального греха»), к той слащавой неопределенности, которая была приманкой в их искусстве и религии. У него был свой орден, а не «как бы» орден. Друзья его были только личные, не по кругу или среде. Его тошнило от русской интеллигентской идеи, где «личное» и «общественное» всегда в мутной смеси, и он считал, что Поэту недостойно быть одним из «них».

Скучно. Ну, в самом деле, сколько можно говорить о том, что и так говорено — переговорено? Но ведь и интересно. Как один из вариантов той философии начала века, которая *рефлексом* — неважно, положительным или отрицательным — живет во мне и сейчас, в самом его конце.

Но отчего же, все-таки, скучно так все получается? Да потому, что жалко мне его, Поэта. Все у него как-то не так выходило. Ну возьмем такой случай. Идет он со Стрелки домой, пьяный. Холодно.

Извозчиков нет. Шатается даже. Навстречу девица идет. Ну, вполне. Он ей, барышня, вы не заняты? А она: Боже, неужели вы меня не узнаете? Он, да где, говорит, мне вас узнать, когда столько вас было. А она губку закусил, отвернулась и прочь пошла. Или еще. Идет раз к опере, певицу, с которой у него роман был, встречать после представления. Подождал. Вышла. Вы — говорит — так восхитительно пели сегодня, как никогда. А она ему, куда, говорит, пойдём-то? А он: у меня нельзя — говорит — жена дома, да и мать вчера с дачи возвратилась. А у вас нельзя? — Да какое там, у меня муж-то в опере был, поди сейчас-то уже успел до дома на извозчике добраться.

Сложная была у Поэта семейная жизнь. Трудная.

Да и у Михаила Ивановича жизнь была не один сахар. Едет раз из Берлина. В спальном вагоне. Устал страшно и, разумеется, наивно предполагает просто лечь спать. А тут в купе входит — кто? Белый, конечно. Какое счастливое, говорит, совпадение. Вы и я — полюса двух мистических сил. Каких — сами знаете. Это-то уж, безусловно, карма. А как, кстати, с моей книжкой? Ведь замечательно, правда? Нет, я не о денежной стороне, но все же, знаете ли... Да нет, нам с вами не об этом сейчас надо говорить, а о главном. Единственном. Глазами не видимом. А у того-то глаза уж вовсе смыкаются и видеть решительно ничего не желают. Да завтра с утра аудиенция и сразу же совет в Дирекции Императорских Театров. А вы говорите — миллионер. У миллионеров тоже не все устроено бывает.

Но вернемся к Михаилу Ивановичу. С Пьереттой разделаться невозможно и он постоянно ездит в Канны. Зато Станиславского разлюбил решительно и больше не ездит в Москву на спектакли Худо-

жественного. В его думанье и чувстве к Поэту накапливается все больше «нет». Чем дальше вверх, тем меньше вариантов. Как в «Розе и Кресте», только два — Бертран и Каэтан. Заканчивая пьесу, Поэт видит, что Бертран получился немного вульгарным, но он ведь и должен таким быть. Михаил Иванович видит, что его история с Пьереттой — вульгарный водевиль, который ему, рафинированному меломану и вагнерьянцу, придется досмотреть до конца, с полной оплатой ангажемента и царскими чаевыми билетерам. Но и здесь опять расхождение с Поэтом, раз уж так случилось, то это — твое. Поэт сам выбрал Бертрана (и революцию — забегая вперед). А он в пьесе Поэта выбрал Каэтана (и Пьеретту — глядя назад). Поэт заплатил много дороже, но это — уже задним числом.

Он Поэту: «Я человек совсем частный. В мои дела втянуто множество людей, но за них я не отвечаю. Отвечаю только за самых близких, ну и за себя, как мсгу. Вы боитесь кары и призываете ее на ваши головы. Но Бог вам судья, призывайте, если хотите, но только на свою. Да и то, знаете, даже если это ваше личное дело, неудобно как-то. Любое дело нуждается в споспешествовании. В умиловительной жертве, на худой конец. А вы сразу с искупительной начинаете». Михаил Иванович видел зло как изначальное, всегда тянущееся за ним в настоящее. Эсхатология, как и космическое самоощущение, в нем полностью отсутствовали. Он был человеком своего микрокосмоса.

Поэт все меньше любит свою пьесу («язык суконный, с души воротит»), и все больше — «Петербург» Белого («Есть такие места... что все становится иным... даже неудачное, до и после них в книге...»). Уговаривает Михаила Ивановича печатать роман, тот пожимает плечами — не слишком ли много «скры-

тых смыслов»? Все время приходится «отделять идеи от вещей», как будто Белый стыдится ясности.

Он заставляет Поэта дописывать и переписывать пьесу. Странное времяпрепровождение, мучающее одного и слегка забавляющее другого. Поэт огорчен и жалуется: «Все, что мне говорят все мои, я говорю Михаилу Ивановичу... потом это возвращается ко мне от него... моими мыслями и словами». В конце февраля 1913-го Поэт рассказывает ему о критской культуре 2-го тысячелетия до н. э. и резюмирует: «Там было все правильно, кроме *основного*». Михаил Иванович недоумевает, дескать, если смотреть на это, как сделанное *для кого-то*, то как мы можем знать? Поэт в конечном счете согласен: все дело в «для». Для народа, для *vulgus'a* — не знать этого и есть заблуждение и трагедия людей искусства. Михаил Иванович, как всегда, пожимает плечами, ну какая уж там трагедия.

Так беседуют два молодых человека. У всякого искусства два лица. Одно внутрь, другое — наружу. О критском мы знаем только то, что наружу, да и то, едва ли. Свое мы можем видеть и изнутри, — пока видно. Михаил Иванович хочет, чтобы в «Розе и Кресте» все было страшно — «действительность 14-го в. опережала воображение», искусство 20-го опережает действительность. Великие артисты — ты им смотришь в глаза, а там отражается... *другой*. Такой и Дягилев, который ходит «не один», такие же... «из массы народной», Шаляпин с Алексеем Максимовичем. И тут же рядом два чистых гения — Нижинский и Стравинский. Да, Дягилев «все устроит» — так надо. Мир начала века давал «дягилевоподобным» и «горькоподобным» избыток пространства. Поэт видел в них силу. У Михаила Ивановича не было к ним ничего, кроме отвращения. Поэт жаловался, что с Белым его «жизнь раз-

вела». Еще год-два и жизнь (война?) разведет его и с Михаилом Ивановичем.

Пока что Михаил Иванович мечется между Каннами и Петербургом. Боится Пьеретту и живет с ней. Поэт не боится жену, с которой не живет, беспокоится об издании книг, своих и друзей, и мечтает о вечном союзе «двух истинных художников», не замечая начавшегося отдаления. Михаила Ивановича все труднее застать дома. Михаил Иванович обожает «Незнакомку», но этого недостаточно. В чем проблема? — как спросили бы мы, из конца 20-го века? Сейчас ясно: проблема была не «поэт и толпа», не «герой и масса», даже не «я и вы», а совсем просто и жестко — «я и мы». Поэт боялся остаться без «мы». Сначала Михаилу Ивановичу казалось, что Поэт просто валяет дурака. Но весной 1914-го на Английской набережной после долгой прогулки с Поэтом (последней, может быть) почувствовал он, что тот не хочет быть одиноким рыцарем и что дурно написанная (ну и что ж из того?) «Роза и Крест» не станет орденом самоучителем для начинающих. Орден — это не компания («Боря, Женя и я»), а союз равно-обреченных и равно-готовых к поражению.

Пьеретта беременна, а в столице интрига против назначения Михаила Ивановича управляющим оперной и балетной труппами императорских театров. Но 25-го июля он уже едет в Киев уполномоченным Красного Креста в Южной Армии. За месяц до того Поэт записывает: «Мне с ним все труднее и труднее». Перед отъездом Михаил Иванович говорит Елбановскому — они гуляли по Морской, — что России не остаться как она есть. Ну просто по судьбе не выходит, и что Германию необходимо победить, чтобы *не стать ею*, «хуже этого ничего не может случиться». — «Неужто не может?» — просто-

душно спросил Игорь. У него в это время был в разгаре роман с немкой, дочерью швейцарского консула. Да и вообще, будучи натурой несколько скептической, он подозревал, что с Россией может случиться кое-что и похуже.

Жена Поэта тоже едет в Южную армию, медсестрой. Поэт остается в городе, уже переименованном в Петроград. Издательство Михаила Ивановича прекращает свое существование. «Роза и Крест» выходит в альманахе и не вызывает особых мистических откликов.

И Поэт, и Михаил Иванович были серьезны во всем: в денежных делах, в любви, в политике, в болезнях. Серьезность была великой чертой эпохи и могучим орудием непонимания. Отсюда — поразительное в этих людях отсутствие иронии и самоиронии. Но крайняя серьезность (как и крайняя несерьезность) нуждается в *тайне*. У Поэта и Михаила Ивановича «схождение по тайне» было почти литературным, чтоб не сказать карикатурным.

Не в силах оставить вихляющую стезю литературного полужайки и повинуюсь «силе объектива» (о которой речь ниже), я стал писать Михаила Ивановича десятых годов с зыбким намереньем раскрыть тайну его предательства, столь упорно и легкомысленно приписываемого (в первой части романа) его московскому другу дяде Ваде. Но чтобы тайне быть, ее надо сначала выдумать, потом запрятать куда подальше и только тогда пускаться на ее поиски. И тут-то оказывается, что для одного персонажа одной тайны решительно недостаточно. Их надобно две по крайней мере, лучше — три. Тогда жизнь становится осью, на которой располагаются точки тайн, полем напряжения между ними, потоком времени, где один горизонт переливается в другой через шлюзы тайн.

Так что же — возмутитесь вы — значит тайна не может быть правдой? Напротив, она-то именно и есть правда, правда, которая без тайны навсегда бы осталась плоским фактом моей и твоей жизни, не подлежащим розыску и раскрытию. Бывает, конечно, что ты сам ее не знаешь, своей тайны. Тогда мне приходится придумывать ее за тебя, но... ведь ты-то сам знаешь правду о себе, во всей ее непререкаемости. И для этой голой правды сам кроишь и шьешь тайну. В этом — твои воля и решение. Потом, при смене поколений, прекрасно зная, что для «них» все это чушь и ерунда, ты все равно будешь держаться за эту тайну, боясь того, что бесконечно страшней ее разоблачения — что если ее покров спадет, то под ним не окажется ничего, даже позора.

Но как сосредоточиться на чужой тайне, когда она давно уже прогорела трескучей петардой, не оставив ничего, кроме слегка обожженных пальцев и мимолетного праздного недоумения! Ах, как не равны себе могут быть наши тайны! Взять того же Поэта — ну, казалось бы, чего проще, три тайны, как три карты Германа: жена — блядь, отец — еврей, а зубная боль — триппер. С кем не бывало? — так нет же! Жена, если взглянуть на нее глазами культурнейшего буржуа своего времени, оказывается вполне порядочной, безнадежно несчастной и непоправимо скучной дамой, о которой Поэту было просто необходимо думать как о бляди («блядство жены — наваждение»), чтобы *одновременно* думать о ней же как о святой. Его полуеврейство («еврейство отца — проклятие»), известное половине Петербурга, было «тайной», скрывавшей разве что позор банальности. Триппер, который и тогда можно было вылечить в три месяца («триппер — наказание»), но... боязнь пустоты сильнее... И «зубы болели».

С тремя тайнами Михаила Ивановича все было иначе. Они, в отличие от тайн Поэта, были обращены наружу, в силу той же проклятой объективности времени, событий, обстоятельств... То, что для Поэта было позором унижения, для него было позором предательства. Ну, скажем, свое бессилие отказать от связи с Пьереттой он считал предательством по отношению к матери и сестрам... Нет, не годится даже для застольного исполнения в московских шестидесятих! Хорошо, тогда назад, к второй тайне. Тогда ему не было и семнадцати, и в него влюбился один пожилой человек, обаятельный, благородный и умный. Что там было и чего не было, не знаю. До конца жизни он был Михаилу Ивановичу любящим и преданным другом. Что-то от этого осталось неудобное и тревожащее. Думал ли он, что этим предал мужское в третьем поколении мало-российских магнатов? — не знаю, тоже не звучит как рассказ о действительно случившемся.

Третья, однако, была тайной *par excellence* и, в отличие от первых двух, не могла быть ничем иным. Просто дело, о котором идет речь, само было тайной. Да было ли само дело-то? — это — к Игорю Елбановскому, который по своей глуховской манере отвечал, что, дескать, было — не было, не знаю, но могло случиться. А если случилось (это я говорю, а не Игорь), то не на одной ли из аллей одного из Оксфордских колледжей? Если так, то это могло произойти вскоре по окончании им курса по экономике в лейпцигском университете. Но об этом — через три главы.

Поэт умер, забыв свои тайны за ненужностью. Чем они стали в час насланной им на себя смерти? Три тайны Михаила Ивановича были перекрыты четвертой, обратным образом определившей ход его памяти о прошлом и ход его жизни в будущем.

Я шагаю по коридору забвения — или памяти, если вам угодно. Там нет дверей и дверец. Если вдруг забудешься, остановившись, то в миг потеряешь направление. Вся память — в тебе. Она заполняет пространство твоего передвижения. Отсюда — невозможность исследования своей памяти (исследование — остановка). Попробуй это сделать, и ты либо забудешь, что помнишь, либо, кто помнит.

Глава десятая

**Победа никогда
не была нашей**

Но при всем этом, говоря о людях и поступках того времени, я бы хотел подчеркнуть полную невозможность думать, что что-то могло бы или должно было бы произойти не так, как оно произошло. Мы были слишком одно с событиями.

Барон Нольде о событиях
в Петрограде января—марта 1917 г.

Сейчас, достигнув Швеции, я рвусь назад, в Лондон. Для понимания перерыва и непрерывности в его жизни. Еще не наступило время, когда само это место — Стокгольм — как-то соединит его время с моим. Нет, начало века еще далеко не исчерпано, хотя времени остается в обрез.

Некролог о Михаиле Ивановиче в «Таймсе», в апреле 1956-го, вряд ли намного бы отличался от некролога, который мог бы появиться в «Санкт-Петербургских Ведомостях», если бы не случилось октябрьского переворота. Но между концом 1917-го, когда его имя встречалось в «Таймсе» весьма часто, и этим некрологом — почти ничего в печати. Ни слова о нем. Нигде. Ни адреса, ни телефона. С другой стороны, стал бы он сам сознательно избегать таких едва ли не обязательных в этой самой «приватной» стране в мире *обозначений себя*, как адрес или клуб? А не был ли его уход от публичности обусловлен только публичными обстоятельствами?

Разговаривая с Поэтом в ресторане «Прага» в Москве, в апреле 1917-го (безусловно — последний их разговор), Михаил Иванович нетерпеливо морщился. Поэт, видите ли, не удовлетворен февральской революцией. Он хочет, чтоб все было по его «Гуннам»: сметающее все на своем пути движение «этнической массы», неотвратимо несущей свою ею самой неосознанную правду. Михаил Иванович терпеть не мог «этнических гипербола» («как в Германии, только еще противней»). Оттого с 1916-го хотел свержения династии путем верхушечного военного переворота (он всегда предпочитал иметь дело с как можно меньшим количеством людей). Убийство Распутина было «преступным паллиативом», явно нарушившим заговорщические планы его друзей и только ускорившим наступление революции (и он и Поэт ее ждали, и обоих она застала врасплох, как, впрочем,

и всех остальных). Теперь Поэт, проходя по улицам апрельского Петрограда, бормочет, «мало, мало революции» (то есть пока не все идет по его «Гуннам»). Михаил Иванович же сильно опасался, что ее уже многовато («запах, черт возьми!»). Поэт мучался оттого, что ему не удалось сыграть никакой роли при новом режиме, а он оттого, что неудачно играет не-свою роль после не-своей революции.

Итак, стена — пала. Не стена «метафизического неведения» молодого Михаила Ивановича, а та, о которой совсем еще молодой Владимир Ильич якобы сказал: «...ткни ее — и развалится». Британские наблюдатели этого падения с легким недоумением отметили назначение неизвестного им молодого человека на пост министра финансов («...к чему он вряд ли был профессионально подготовлен в столь ранние годы...» — читаем мы в том же таймсовском некрологе через сорок лет). Но уже через три недели Владимир Набоков (отец, а не сын) с удивлением говорит о нем, что «...это безусловно честный и отменно деловой и трудолюбивый человек» (и то, и другое — немалая редкость уже тогда!), а сэр Джордж Бьюкенен сообщает о нем в депеше: «...удивительно искренен и честен, чего, к сожалению, нельзя сказать о некоторых других членах кабинета». «Он воплощает не Россию революционеров-нигилистов и развращенных аристократов, купающихся в шампанском, — пишет дочь Бьюкенена, Мюриэл, — а ту прекрасную, единственную Россию, с которой навсегда будет мое сердце». «Честен абсолютно и бесповоротно, — говорит французский посол Нуланс, — более того, не будучи связан ни с одной партийной кликой, он является едва ли не единственным, кто понимает здешнюю политическую обстановку *объективно*...» Не слишком ли много честности? Репутация становилась опасной.

Елбановский (прочтя эти страницы): Все становилось опасным. В особенности, когда его друзья заранее решили, что ничего не способны сделать и что необходимо срочно найти кого-то способного и на него... положиться. Очень русское решение. Вот тут-то его честность ему не пригодилась. Еще, пожалуй, дней за пять до того, как сменить финансы на иностранные дела, он начал лихорадочно всех уверять, что все будет... в порядке.

Я: Что он — испугался?

Елбановский: Кто не испугался бы на его месте? Мишель знал, что все идет ко всем чертям, уже пошло ко всем чертям, но упорно продолжал вести себя так, как если бы оно все еще к этим чертям не шло. Ко времени, когда он стал министром иностранных дел, русская армия не могла не только наступать, но и держать фронт. Но он неутомимо уверял союзников, что все будет... в порядке.

Я: Что же это тогда — глупый оптимизм, самообман или попросту вранье?

Елбановский: А не было ли у самих союзников, в их отношении к боеспособности русской армии, самообмана или даже обмана? Я не исключаю и того, что все четверо — Премьер, Мишель, Бьюкенен и Нуланс — поддерживали друг в друге иллюзию победы.

Сам я не историк и не мемуарист. Попытка понять сознание этих людей привлекает меня гораздо больше, чем установление или, чего хуже, восстановление исторической истины (вранье — это тоже состояние сознания). Но невозможно исключить и «масонскую гипотезу»: Премьер дал слово (покаялся масонской клятвой?) масонам союзных держав, что никогда не оставит их в беде, а Михаил Иванович дал слово (тут уж наверняка «масонское»!) никогда не оставлять в беде его, Премьера.

Значит, Михаил Иванович врал, и русские солдаты гибли в окопах во исполнение двух масонских клятв? Масонство, между прочим, уже давно фигурирует в истории как способ объяснения каких-то событий, обычно ужасных и катастрофических, а не само по себе. Оно «просыпается» после очередной революции или войны, чтобы сыграть роль их таинственной причины, а потом «засыпает» до исхода следующей революции или войны. Да, Михаил Иванович был членом не только, по крайней мере, двух масонских лож в Петрограде (одна из них — военная), но и страннейшего учреждения, Верховного Совета народов России, в котором, мне кажется, представители разных масонских лож обсуждали не-масонские вопросы политики и войны. [Этот «совет» сам не мог быть ложей, ибо по масонскому уставу разговоры о политике в ложе не разрешаются.] Но и об этом ничего точно сказать не могу. Здесь интересно другое: никто из моих московских собеседников — членов «личной» ложи Михаила Ивановича — обо всем этом *ничего не знал*. Это была, по версии Елбановского, «другая жизнь Мишеля». Мне же пока ничего не остается, кроме малоубедительного предположения, что все сделанное и сказанное (включая вранье) им с февраля по октябрь 1917-го было для него исполнением его розенкрейцерских обетов. Но война... Летом Дмитрий Набоков (дядя писателя) пишет из Лондона: «Премьер и Михаил Иванович врут французам о боеспособности русской армии. На фронте плохо, очень плохо».

В Петрограде было еще хуже. И врать об этом было куда труднее. Петроградский Совет явно становился хозяином положения в городе, а большевики (пока неявно) — в Петроградском Совете. На это надо было закрывать глаза («Вот стабилизиру-

ем положение на фронте, и тогда...»). Михаилу Ивановичу, однако, становилось все труднее закрывать глаза на то, чем был Премьер. Союзники воспринимали Премьера только через Михаила Ивановича, что приобрело характер совершенно абсурдный: он излагал Премьеру свои мнения, тот их прилежно заучивал, а потом излагал их английскому и французскому послам в переводе того же Михаила Ивановича, ибо языков не знал. Так Михаил Иванович воссоздавал для союзников (а может быть и для самого себя) образ «революционного Премьера», наделяя чертами отважного и мудрого государственного деятеля того, кто на деле был не более чем самолюбивым и капризным демагогом весьма умеренных умственных способностей.

И, наконец, самое страшное вранье — это он позвонил Бьюкенену (25-го августа 1917-го) и сказал, что Корнилов поднял военный мятеж и идет походом на Петроград. Верил ли он сам в эту легенду или опять врал, чтобы спасти лицо Премьера и дать тому козырь в его борьбе с Петросоветом? Когда его друг, генерал Крымов, после отвратительной сцены, устроенной ему Премьером (тот прямо обвинил его в государственной измене) застрелился (Михаил Иванович положил ему в гроб перчатку), надежды больше не оставалось.

27-го августа, «в самый последний момент», Премьер вернул его с дороги в Могилев, в ставку Корнилова. Теперь Михаил Иванович точно знал, что Премьер не хочет знать правды о положении в армии и готов принести в жертву Корнилова, Крымова, кого угодно, только чтобы еще раз *выпутаться*. Ну что ж, значит ему больше нечего делать с *этими людьми*. Ни с кем из них. Но это не привело к решению. Сейчас он был необходим Премьеру более, чем когда-либо здесь, в Петрограде, как залог его,

Премьера, правоты и чести. Что поделать, Михаил Иванович был одержим идеей своей почти божественной всепроникаемости: «Ноги мои еще меня до вас не донесли. А как донесут — войду, как нож в масло! Как входил в любую семью, страну, клуб, круг, общество, революцию, наконец. Войду и — все будет в порядке». Так ведь врал же! Теперь вокруг — хари, рожи злобные, пасти орут свирепо. Миф его друзей-символистов, но как-то очень уж похабно осуществленный. Но все-таки, если «я — здесь, то ведь сделаю хоть что-то со всем этим, не так ли?» С этой «подвешенной» масонско-розенкрейцерской иллюзией надо было прожить еще месяца полтора-два. Наступила прекрасная ранняя осень.

Глава одиннадцатая

Интерлюдия с Наумом

(урок мовизма)

В двадцатом веке, чтобы тема превратилась в сюжет, необходим — еврей.

А. П.

1990 г. Август. Снова, как и год назад, — июль безвыходно-жаркий. Волшебная фабула романа стонет во сне, не принося ни надежды, ни облегчения. Пытаясь разорвать прежние ассоциации, запутываюсь в паутине будущих, давным-давно сплетенных древней паучихой (из еще не виденных снов), висящей в правом углу под потолком. Иван (Иван Михайлович) — еще живой, в Каннах, где та же проклятая жара. Здесь, в Блумсбери, я остаюсь для повторения урока прошлого лондонского лета, ислингтонского лета, хэмстедского лета, хэмпширского лета... Прочь! Шаг вниз, и вижу — лифт, который еще работает. Почему? Последний? Отчего, выдумывая прошлое, я вижу его подо мной, а не там позади? Не желая повторять истории того безумного набоковского музея в провинциальном французском городке — оттуда перемещение в Россию проходило по горизонтали — только один шаг вниз, в прохладный ранне-осенний Петроград 1917-го. На в последний раз работающем лифте подняться на второй этаж, в квартиру с высокими петербургскими потолками, его квартиру.

Что он тут делает, младший современник вечно стареющего прустовского мсье Свана? Как и тот, изящный в одежде и движениях. Как и тот, любим друзьями, лелеем женщинами, удачник, счастливец. Я вижу их сейчас: две безупречно одетые, великолепно обутые (*well shod — and well gloved too*) оболочки, набитые (*well stuffed, o bathos!*) чистым страданием. У обоих на всей земле никого, кому можно было бы рассказать — да что там, просто сказать об этом. О нем нельзя ни забыть, ни даже надеяться на его облегчение. Оно — неустранимая материя *твоего* бытия. Твоего — ибо, если даже устранены причины его породившие, само оно остается в тебе тяжелой разбухшей массой...

Но есть выход. Трудный, но есть. О нем — немного после. А сейчас — вниз, вверх, к нему. Но... еще одно маленькое, последнее отступление, пока вы оглядываетесь, привыкая к полутьме огромной гостиной.

Страдание — это тема, а не сюжет. И, заметьте, если перейти от страдания вообще к его, так сказать, каузальным частностям, то в начале двадцатого века, все они — вранье: и «предательство» дяди Вади, и «последний истинный артист» Поэта, и «вся правда» Бурцева, все это — вранье, рассыпанное по не ставшим сюжетам под-темам того поколения. Чтобы тема превратилась в сюжет, необходимо... еврей. Во всяком случае именно так дело обстояло с историей Свана, полуеврея, так же, как и с историей России начала столетия. Еврей вносит в тему (страдания, лжи, предательства) некоторую двусмысленность, которая может дать начало сюжету. Даже если тема — антисемитизм. Что, казалось бы, менее двусмысленно, но и здесь, чтобы из антисемитизма получился сюжет, будет обязательно нужен ну какой-то «добавочный» еврей, что ли. Еврей — не совсем еврей (или даже вовсе не еврей, но выполняющий эту «еврейскую работу»), как, скажем, Леопольд Блум из «Улисса» Джойса, или тот же Сван. Еврей со стороны, так сказать, приходящий, чтобы напомнить, что без *дополнительной* точки зрения Ивана Карамазова весь роман остался бы бессюжетным, да и вообще никакого романа бы не было.

Михаил Иванович не бежит, как я, взад-вперед по комнате, нервно затягиваясь сигаретой, а сидит в кресле у кофейного столика, с сигаретой в правой руке — точь-в-точь, как на портрете Головина. Перед ним, на столике, — «вся правда Бурцева»: список лиц, «транспортированных» немцами в Рос-

сию, и членов их семей. Принесший список Наум (Нахум Натанович Бреус) сидит поодаль, держа на коленях маленькую чашечку кофе.

«Нет, — сказал Михаил Иванович, — это невозможно. Из 76-ти фамилий 54, по крайней мере, еврейские. Если мы опубликуем список, нас обвинят в прямом антисемитизме. Передайте Владимиру Львовичу, что для нас совершенно невозможно совершить такого рода faux pas».

«Одну минуточку, — быстро проговорил Бреус и поставил чашечку на пол, — что вас, собственно, беспокоит? То, что если вы огласите этот список, то вас сочтут антисемитами, или то, что его публикация будет на самом деле актом антисемитизма? Но помилуйте, вы же сами прекрасно знаете, что вы не антисемит. Вы, Бурцев и я, все трое, прекрасно знаем, что список подлинный. Значит, вы боитесь его публикации не потому, что он сфальсифицирован, а потому, что она может вызвать усиление антисемитизма в армии и у части населения и усилить вражду к вам в полуеврейском Петросовете. Вы не можете не знать, как лгут большевики. Единственное, чем мы можем им ответить, это — правдой. Правдой о евреях, о русских, о немцах, о французах, о нас самих, о ком угодно». «Правда никому не нужна», — сказал Михаил Иванович.

Боже, как исчезнуть из этого города? Как погибнуть, наконец, если нет другого способа исчезновения? Кончились даже успокоительные завтраки с Николаем Михайловичем. Тот сказал третьего дня: «Отчаяние переносимо только если есть любовь, да, Мишенька?» — А невинность? В Науме, которого он видит в первый раз, ее хоть отбавляй, но есть ли любовь? Поэт потерял любовь, а невинности в нем отроду не бывало (порядочный, однако, человек, честный, как сказал бы этот Наум!). В те годы, в 12-

м, 13-м, было другое, режущее отчаяние непоправимой ошибки (с каждым может случиться, говорил его кузен, Андрей Рогастов, ну выебешь не ту...). Сейчас — глухое, тупое отчаяние от запутанной в змеиный клубок лжи. И не выпить — с работой до четырех утра не разделаешься.

«Значит, правда никому не нужна, — повторил Бреус, — но если года через два-три мы окажемся в Португалии или в Австралии, или в любом другом месте, где не будет нужды во «временных формах правления», то единственная вещь, в которой будет нужда, это — правда». — «Но поможет ли нам эта правда, милейший Нахум Натанович, увидеть выход из ситуации спонтанного, перманентного обмана и самообмана?» — улыбаясь спросил Михаил Иванович. «Сейчас объясню, — неожиданно резко возразил Бреус, — и не за Бурцева, а от себя только. Правда никому не нужна для жизни, кроме нескольких безнадежных маньяков. Но она всем будет крайне нужна в момент смерти. Когда одни люди без правды свернут шею, как цыплятам, миллионам других людей без правды. В тот момент, может статься, жертвы душителей вспомнят о правде, которая им никогда не была нужна. Да и душители вспомнят, когда придет их очередь быть задушенными».

Тихо тикали фарфоровые часы с пастухом и пастушкой. «Не думаю, что она сейчас мне поможет, — успокоившись, продолжал Наум, — или вам, или кому еще. Но умирать без нее будет страшнее, чем самый страшный ад. У вас, конечно, сейчас дело в руках, так сказать, и вы — простите мне эту бестактность — хотите идти до конца в выполнении принятых вами обязательств, в чем правда представляется вам помехой. Я имею в виду правду фактов, а не идей или целей. А мне никакие идеи

не нужны, даже — идея правды. В этом я расхожусь и с Владимиром Львовичем тоже».

Михаил Иванович листает список. Хотелось думать о Николае Михайловиче и о Мюриел Бьюкенен (но ебать ее не хочу, о Господи!). Одновременно — он это с удивлением почувствовал — не хотелось, чтобы Бреус ушел. «Не хотите ли коньяку?» — «Спасибо, я не пью». — «Как Владимир Львович?» — «Нет, по-другому. Он по своему типу непьющий. Я, пожалуй, даже люблю выпить немного, но... простите за претенциозность, боюсь последующего отрезвления». — «Так выпейте со мной хотя рюмку. В первый и последний раз. Ведь мы с вами, я думаю, едва ли когда еще встретимся (в этом он ошибся)». — «Хорошо. Я пью за следующую встречу, сколь бы невероятной она сейчас ни казалась, — поднял рюмку Наум. — Вы думаете, меня не тянет порою и к этим, и к тем. К вам, да и к ним, смертельным врагам вашим. К тем, кто мечтает поднести зажженную спичку к бочке с порохом, на которой вы сидите, и в последний момент перед взрывом улизнуть каким-то сверхъестественным образом. Да только так ведь не бывает и не будет. Их «сверхтерроризм» — не политическая концепция, а ложная эстетическая конструкция. Еще одна безнадежная попытка устранить двусмысленность жизни. Ну вроде теории искусства для искусства, только гораздо банальней. Ну, мне пора — надо дотемна успеть в Кронштадт». — «Нахум Натанович, как вы думаете, любил ли Владимир Львович когда-нибудь, хоть раз в жизни?» — «Кого, женщину?»

Михаил Иванович захохотал почти истерически. Он первый поднялся и, слегка поклонившись: «Благодарствуйте Владимиру Львовичу за список. Еще передайте ему, пожалуйста, в смерти Крымова не было никакой ошибки. Было прямое предательство.

Мое». — «Как — ваше?» — «А так. Приходится учиться произносить точные слова. Так ему буквально и повторите, как я сказал».

Сейчас — ванну и обедать к Бьюкенену. Только бы избавиться от этого вездесущего кислого запаха революции! Пахнет почти ото всех. Даже от Премьера. Даже от Поэта. Революция — это выведение из себя непереваренного страдания. Отсюда — вонь. Не забыть отпустить шофера, когда приеду к послу. [Мюриел Бьюкенен вспоминает, что, когда после ужина Михаил Иванович сказал, что вернется домой пешком, посол приказал двум кадетам с винтовками проводить его до дому. Те почти сразу же вернулись, весьма смущенные. Господин министр предупредил их, что, если на них будет нападение, он запрещает им стрелять, а сам намерен сдаться любым нападающим (сказал, что ему «все равно»). Когда же они решительно отказались, то он не стал спорить, а... убежал через один из многочисленных проходных дворов. Видимо, физический страх был ему вовсе чужд. В этом, по мнению Елбановского, было что-то казацкое.]

Возвращаюсь к обещанному в начале главы «трудному выходу из страдания». Взрослый Пруст — писатель, наблюдающий пожилого мсье Свана глазами себя — мальчика, открывает, что Свану будет не выпутаться из истории с Одеттой, пока он не напишет об этом РОМАН. Да, да, роман, а не наброски впечатлений и ассоциаций, которые Сван стал писать *вместо* романа, этим его уничтожив. Женившись на Одетте, в которую был долго и страстно влюблен, он разлюбил ее в один день. Судьба заплатила ему за эту любовь дочкой Жильбертой, в которую влюбился мальчик, потом переработавший страдание болезни и любви в роман о себе и Сване. Точнее — о Сване как о другом себе.

Я, наблюдающий молодого Михаила Ивановича (в 1912-м ему было двадцать шесть), видел, что ему было не развязаться с Пьереттой ценой переписанной им за Поэта плохой пьесы о жизни трубадуров, альбигойцев и катаров. Война и революция поставили крест на «Розе и Кресте». Сван и Михаил Иванович знали, что женятся на шлюхах (за обеими тянулось еще по одной истории, но об этом, пожалуй, не стоит), хотя первый женился лет за двадцать до второго, а второй, выходя из ванны тем августовским вечером 1917-го, еще не знал, что именно это и сделает еще через четыре года ввиду совершенно особых обстоятельств, побудивших его к этому шагу.

Давно прошедшая влюбленность в Одетту оставалась в Сване легкой меланхолией и слегка небрежной нежностью к ней, не обострившими и не уменьшавшими его мучение. Сван был для мальчика выдуманным им для себя уроком любви и свободы, ненавязчивым и элегантным. Но заметьте, о вине Свана перед Одеттой не могло быть и речи — ведь это он обманулся (проиграл?), влюбившись в нее, не она. Похоть, бросившая молодого Мишеля на Пьеретту, осела в нем комком неискупаемой вины, не перед ней. Теперь писать за него роман приходится мне, пока он, получив временную отсрочку от дел сугубо личных (так ему казалось в 1916-м) в нависающей надо всеми революции, гадал и загадывал о скором перевороте, ожидая от него и переворота в собственной судьбе («новое отчаяние тоже передышка», — сказал ему Николай Михайлович после крымских похорон).

Михаил Иванович для меня — не я, каким был влюбленный мальчик для Пруста или Спекторский для Пастернака. Да, как и последний, я стал «писать» Михаила Ивановича, «повинуясь силе объек-

тива», то есть уступая необходимости переработки своего страдания в *не-свое* романа, а себя самого в *не-себя* романа. Не из необходимости ли ступать по исхоженным им тротуарам (что вздор, ибо он почти всегда брал такси, живя в Лондоне) мне было задним числом предопределено прибиться к меловым скалам Дувра (что тоже вздор, ибо я сюда прилетел на самолете в Хитроу)? Тогда саму эту переработку я бы осмелился назвать «йога романа». Но «другого меня» для романа (как и для приличной йоги) — недостаточно. Необходим и «другой другой». В нем будет объективироваться не-твоя жизнь (литература?). Он будет образом мира (литературы?), который уже никогда не станет для тебя действительностью (литературой?). Из него твой «другой» извлечет свой (а не твой!) урок. Урок, который из *тебя как ты есть*, тебе никогда не извлечь, и не потому, что ты — говно, а потому, что ты просто — не йог.

Сван Пруста и Спекторский Пастернака — идеальные «другие другие» своих создателей, хотя последний, престранным образом, был одновременно и «просто другим». Спекторский — от *spectator*, «видетель», «смотритель» (а не от *spectrum*, «видимое», «обозреваемое»). Пишущий роман повинуется силе того, в ком он объективирован: тот видит, а пишущий это записывает и так «пишет того» — мир романа своими глазами не увидишь. А если увидишь, то не напишешь. А если напишешь, то это не будет роман. Точнее, пишущий повинуется силе своей ситуации, ситуации своего объективирования в «другом», то есть повинуется объективу как объективности этой ситуации, а не как оптическому инструменту, через который смотрят. Здесь значения квазилатинских *spectator* и *objectivum* совпадают, и тогда «повинуюсь силе объектива» бу-

дет (для Пастернака) означать «повинуясь силе Спекторского» (даже Игорь Смирнов допускает, что сказанное может иметь смысл как элемент теории романа). С другой стороны, внутренняя необходимость писать роман может возникнуть и в силу просто отсутствия внешней необходимости это делать — ну, скажем, когда ни за что другое тебе все равно денег не платят; тогда уж лучше писать роман, если хочешь, конечно.

Спекторский — полуеврей (по Повести, а не по поэме). Это — чтобы подчеркнуть другое в другом. Хотя, в данном случае «другим» может считаться его русская половина, поскольку Пастернак был евреем. В общем, Михаил Иванович, как и Спекторский — наблюдатель, а не действитель, хотя как и тот (но гораздо сильнее), прельстившийся действием и практически сменивший свой тип, за что ему пришлось заплатить, и весьма дорого.

Сейчас поздно. Совершенно необходимо полностью перестать думать о двадцатом веке до его окончания. Он не потерпит ретроспективы — и в двадцать первом о нем лучше молчать, набрав в рот воды. Как молчал Михаил Иванович о своей России с момента ее окончания. О веке и Европе, однако, хоть редко, но говорил. Потом, много позднее, стал опять говорить о России, но по-другому, по-позднему.

Третья и последняя фигура, появившаяся в тот ранний вечер в гостиной Михаила Ивановича (себя я не считаю), была, во-первых, гораздо выше ростом всех остальных (считая и меня), а, во-вторых, не давала решительно никакого повода думать о ней как об «оболочке, набитой страданием». Да чего там! Все это: сухощавость лица с монголообразными высокими скулами, широкий рот, глубоко посаженные темные глаза, жилистое тело с непомерно длинными, от пояса, ногами в светло-серых брью-

ках с божественно отглаженной складкой — все это было одним с чувством веса, покоя и движения. Престарелый клабмен моих позднейших лондонских встреч, а там, в полутемной петербургской гостиной, двадцатичетырехлетний земляк Михаила Ивановича по глуховскому казачеству, Игорь Елбановский, описывая гигантский полукруг под потолком рюмкой с коньяком, выходящему из ванны Михаилу Ивановичу: «Bonjour, bonjour, bonjour de pouveau, поскольку завтра утром я тебя не увижу. Этот интеллигентный семит призывал тебя побить камнями блудницу революцию, не ведая, что вещает одному из ее незаконных отцов. Кстати, mon cher, имя покойного старшего брата твоего Наума было Берл. Родные звали его Беба. Держу пари, что своего первенца Наум назовет Бернард, вместо Берл, но родные все равно будут звать его Беба. Направление семейной традиции Бреусов — в будущее, которого они сами еще не ведают. Таковы литваки, светлые и рыжие. Евреи херсонские и николаевские предпочитают смотреть себе под ноги и не заглядывают слишком далеко в судьбы своих еще не рожденных отпрысков. Ну, хорошо, что же тебе сказал Наум?» — «Что я вру, и что врать — нехорошо». — «Но ведь он не мог не знать, что ты сам это прекрасно знаешь?» — «Он хотел — ответ. Его вопрос — как обет, и мой ответ — тоже как обет. Вся беседа была ритуальной». — «Но ты — ответил?» — «Частично. Я не хотел себя связывать дополнительными обязательствами. И все это, знаешь, когда из каждых ста довезенных до России английских орудий на фронт попадает самое большее тридцать, из которых десять почему-то не стреляют. Пришли в негодность от долгого пути, я полагаю». — «Мда, — раздумчиво произнес Елбановский, проходя вслед за Михаилом Ивановичем в переднюю и по-

давая ему пальто, — в прямоте Наума — намек на двусмысленность правды. Есть две непримиримые правды — правда революции и правда о революции. Когда революция себя сама погубит, мы спросим, а не достойны ли мы осуждения за то, что не дали ей погубить и нас?»

«Мой ответ будет — достойны», — сказал Михаил Иванович, выходя из квартиры, и подумал, что если в вопросе Елбановского слово «революция» заменить на «Пьеретта», то это будет полной правдой о ней и о нем.

Теперь он сам, если бы захотел, и те, кто были с ним, если бы они умели смотреть и слушать, точно бы знали, как он будет жить до конца своих дней и каков будет этот конец.

Глава двенадцатая

Здравствуй и прощай

Вам здесь выпадает дальняя дорога и случайный человек на вашем пути.

Из гадания

Есть люди, присутствие которых мешает пониманию ситуации. Как если бы они явились сюда по чьему-то поручению, но ошиблись местом или временем. Неуместные и несвоевременные, они сосредоточенно выполняют свою работу, нужную неизвестно кому и зачем. Когда же событий, требующих не-понимания не происходит, то такие люди не замечаются, либо их вообще нет. Как правило, они выходят целыми из всякого рода переделок — их редко убивают, обычно они умирают в своих постелях, хотя и не обязательно в преклонном возрасте.

Игорь Феокистович Елбановский был именно таким человеком. Он появился в караульном помещении Петропавловской крепости 25-го декабря 1917-го, предъявил свое удостоверение РСПУХ и потребовал немедленного свидания с гражданином бывшим министром иностранных дел, в чем ему не могло быть отказано в силу исходящих от него волн абсолютной незаинтересованности в чем бы то ни было, включая исход этого порученного ему (неизвестно кем) дела. Присутствовали при свидании командир Ефим Шерман, красноармеец Семен Глодько и цыган Сергей Клыков.

«Здесь распишитесь, товарищ», — сказал Шерман. «Благодарю вас», — Елбановский расписался и, протягивая руку вошедшему в сопровождении двух конвоиров Михаилу Ивановичу. — «Все, по моему, очень просто, дорогой Мишель — если, конечно, не пытаться делать выводы, к чему, я полагаю, настоящая ситуация нас отнюдь не приглашает». — «Я перечитывал «Незнакомку», — сказал Михаил Иванович, — и вижу, что выводы, которые еще можно было бы сделать в ситуации *пред-предшествовавшей* данной, не были сделаны. И оттого ситуация, *предшествующая* данной не была понята, каковой она остается по сей день». — «О, мож-

но превосходно понимать, не делая при этом никаких выводов. Да! Я едва ли не забыл самого главного — тебе придется отсюда уйти. Просто так — встать и уйти прочь, не давая себя задержать воспоминаниям и чувствам ностальгическим. Колебания излишни, ведь колебаться — это тоже пытаться сделать вывод. Но заметь, никому — повторяю и подчеркиваю, никому — не придется тебя по уходе провожать, а по выходе встречать, не говоря уже о том, чтобы потом сопровождать в дальнейших твоих одиноких прогулках».

То ли тирада Елбановского повергла присутствующих в состояние, которое современные психологи именуют перцептивный шок, то ли она полностью исчерпала лингвистические ресурсы пытавшегося перевести ее про себя на идиш командира Шермана (Ефим был родом из Литвина и очень молод), но произведенный ею «эффект непонимания» был более чем достаточен, чтобы дать Михаилу Ивановичу время для тщательно обдуманного ответа. «Разумеется, разумеется, — сказал он, словно не возражая, а просто продолжая сказанное собеседником, — но я бы не хотел торопиться. Ты, конечно, можешь возразить, что задержка и так уж слишком велика, но... что поделаешь! Не под Новый же год начинать новую страду».

Ждавшему его в коридоре за решеткой Великому Князю: «Вот видите, мой дорогой мэтр, как заживость моих прежних слов, простых и ясных, я теперь расплачиваюсь тем, что слышу и говорю правду на языке абракадабры». — «Не велика плата», — отвечал Николай Михайлович.

«Я не встречать пришел и не провожать, — сказал Елбановский через десять дней после описанной выше сцены, нагоняя его на Литейном. — Вот две пары белья, мыло, хлеб и сахар. Мне еще ос-

тается добавить, что на твоём месте я бы решительно предпочёл меридианальное движение параллельному». — «Пройдемся вместе немного, — предложил Михаил Иванович. — Потом я сверну влево, а ты не следуй за мной, пожалуйста. Боюсь, что все же придется двигаться по параллелям тоже. Воевать я не хочу ни с кем, но надо помочь — в последний раз». — «Тебя убьют, вот и все, — устало, но без раздражения возразил Елбановский. — И мне тогда не к кому будет приехать в Лондон — об этом бы хоть подумал». — «Ну, в Лондоне ты как-нибудь и без меня проживешь, — проговорил Михаил Иванович, приподнимая старую теплую отцовскую шапку в знак прощания. — Хотя, думаю, что мы там увидимся до конца этого года. А пока я не буду стараться быть убитым. Прощай!»

Нижеследующее написано в предположении — точнее, в пред-убеждении, — что чтение мыслей других людей, как живых, так и умерших, невозможно. Если прибавить к этому мое твердое убеждение, что ни один человек не может точно рассказать, что он сам видел и слышал, то отсюда — лишь один шаг до утверждения, что человек, воспроизводящий в своем воображении никогда им не виденное событие, вряд ли наврет о нем больше, чем непосредственный этого события участник или свидетель. Во всяком случае, у первого будет куда больше шансов *угадать* правду, в то время как последний будет полностью лишен свободы выбора из-за своего *знания* этого события и из-за нормальной человеческой склонности приравнивать событие к знанию о нем. Все остальное не нуждается в разъяснении.

Отчаяние — не событие. Оно начало стихать, когда его с другими министрами повели в Петропавловскую крепость. Когда на мосту по ним стали стре-

лять, и все бросились на землю, — только он с Третьяковым продолжали идти — стало еще легче. Когда матросы для забавы толкали его прикладами в спину и прицеливались, оно почти прошло. После знаменитой шутки на тюремной прогулке бывшего министра внутренних дел Щегловитова — отчаяние исчезло (тот сказал, увидев его: «Вы, говорят, истратили три миллиона своих денег, чтобы здесь оказаться — я бы вас с удовольствием сюда посадил, не взяв с вас ни копейки»). Как всегда, беспокоился за мать и сестер (разрешили два свидания).

Полупустой поезд. Ни беженцев, ни матросов. Чужая страна наполнила его неведанной до того легкостью — ведь прежде все его поездки были «в», а не «от» или «из». В первый раз он бежал от своей страны. Первые десять часов в дороге — как первая ночь у ребенка после перелома в тяжелой болезни. Болезнь, как и отчаяние, делает все своим. Теперь он пролетал через легкий сон чужого. Официант в синей студенческой фуражке и коротком зеленом фартучке расставлял закуски и извинялся, что нет красного вина. Михаил Иванович удивился, что незаметно для себя съел огромное блюдо с закусками и выпил целую бутылочку норвежского аквавита. Официант, не спрашивая заказа, поставил перед ним еще одно блюдо и открыл новую бутылочку. Было четыре часа дня. За окнами вагона-ресторана небо сливалось со снегом и белыми домами. Приближался Торнио.

Дайте мне этот чужой снег, и затихающий бело-серо-синий день чужой северной зимы, и поезд, несущий меня сквозь незнакомую грезу детского выздоровления! Ну, конечно, всякий знает, что Михаил Иванович любил Лазурный Берег, а не холодные фьорды. А я бы там остался навсегда, чтобы еще через четверть века прибой вынес мое тело к ска-

лам Бергена, или чтоб его спалил огонь печей в Бельзене, или чтобы мне хватило «времени и огня» на последний бросок в «свою» сторону, в Швецию — и там тихо кончать жизнь повторным эмигрантом.

Назвать встречавшего его на бергенской платформе очень высокого и худого человека в каракулевой шапке — человека третьей тайны Михаила Ивановича — шпионом было бы грубой терминологической неточностью. Ведь по самой этимологии этого слова, шпион — это тот, кто «высматривает», «выведывает», желая узнать то, что другие не хотели бы, чтобы он знал. В то время как человек по имени Линдси, напротив, решительно предпочел бы не знать три четверти из того, что он уже и так знал. Он, по его собственным словам, всегда стремился к ограничению и сокращению поступающей к нему информации. К его услугам обращались в тех случаях, когда было желательно сделать что-нибудь «тихо», «мягко» или «неприметно». Ну, например, устроить встречу двух известных всему городу лиц в самом известном ресторане города так, чтобы никому в городе это не стало известно. По натуре он был совершенный биржевой «медведь». Позже он писал в своих воспоминаниях, что, работая в «фирме», он полагал основной своей задачей снижение эффекта того, что приказывали ему его начальники, и уменьшение эффективности того, что делали его подчиненные.

«Здесь близко, — сказал он, усаживая Михаила Ивановича в необычайно низкий для того времени автомобиль, — набросьте шубу на ноги, сегодня мороз. Вы так и не научились водить машину?» (Он не спросил: «Как там, в Петрограде?»). Потом, когда они сидели в жарко натопленном, сверкающем люстрами ресторане отеля «Король Олаф», Линдси, медленно втягивая сквозь зубы

первую рюмку ледяной водки («с приездом! со встречей!»), заметил, что, по его наблюдениям, можно было бы, отдохнув немного, начать размышлять и об устройстве («Земля здесь немного приносит, казалось бы, но она же ничего и не стоит. Я купил хорошую ферму, купите и вы»).

М. И. Да, разумеется, хотя бы для того, чтобы не так бросалась в глаза патетичность моей ситуации, да?

Л. Мне не кажется, что вы сейчас способны оценить даже вашу ситуацию, не говоря об *общей*.

М. И. Я ничего не знаю. Что изменилось за последние девять недель?

Л. Очень многое. Фактически — все. Теперь вам их не выкурить из Петрограда даже со ста миллионами фунтов в кармане.

М. И. У меня нет ста миллионов фунтов в кармане. Честно, у меня нет ничего.

Л. Ну и прекрасно. Значит — будете покупать ферму.

М. И. Не сейчас. Я, если вы не возражаете, хотел бы сначала прочесть газеты за все мое петропавловское пребывание.

Л. Мы поедем ко мне. Газеты и шесть папок с вырезками и депешами в вашей комнате. Теперь вторую рюмку в память тех, кого убили за три дня вашего путешествия: Кокошкин, Шингарев и... Николай Михайлович. [В день ухода Михаила Ивановича из Петропавловской, ожидали решающего прорыва Юденича. Всех красногвардейцев как ветром сдуло. «Пора, дорогой мэтр, — сказал он Николаю Михайловичу. — Тихо так пройдемся, я вас провожу, а после увидим...» — «Нет, Мишенька, я лучше останусь. Ведь здесь все мои лежат. Нет». Николай Михайлович расцеловал его в обе щеки и трижды перекрестил. Решающего прорыва не было.

Красногвардейцы вернулись. Когда его расстреливали, он положил себе котенка на грудь, где сердце, чтоб не замерз.]

М. И. Тогда я... свяжите меня, пожалуйста, как можно скорей, с Гулькевичем (посол в Швеции)...

Л. Конечно. Уже связал. Но почитайте газеты все-таки. Не спешите ввязываться. Может быть, лучше сначала заняться приведением в порядок дел.

Чьих дел? Матери и сестер? Кое-что он устроил почти сразу же, из Норвегии. После «авантюры Гулькевича» — если она была в действительности — и полного (до отвращения) разочарования в Колчаке, второе, гораздо более опасное «возвращение» в Норвегию. Оттуда в Лондон. Встреча в Гровеноре с Елбановским явилась, мне думается, «питейной передышкой», возможно, первой за два «военно-революционных» года. Человек, который пил только в компании очень близких или очень нравящихся ему людей, был обречен на долговременную трезвость. Не с Колчаком же было ему пить, когда и со столь любимым им Поэтом ни разу не напился. Потому, наверное, что не любил пить с тяжелыми людьми. Легким, скользящим — многое прощал. Хотел собственной легкости. Ценил легко несомое достоинство. Быстро уставал от солидности серьезных и убежденных. Сказал однажды Вадиму Ховяту, что жаль, что рыцари не пережили лат: ведь Орден Рыцарей Храма Господня должен был быть «легким» («обещал стать?») — не вышло, отяжелели за сто лет. Потом еще более тяжелые их избивали, втоптали в землю.

А теперь — что приводить в порядок? Потерять все — а он имел все — невозможно. Потеря всегда — в чувстве, в отношении к чему-то. Первую и недолгую свою бедность он не заметил. Слишком был занят.

Часть третья

Человек без времени

Разумеется, такого рода соображения формальны и не приводят к «опустошению» данного образа.

Всеволод Семенцов

Глава тринадцатая

Прелюдия о сдаче

Смотри, достаточно тебе узнать, что ты — это,
и ты — победитель.

Г. И. Гурджиев

Это — другой рассказ, написанный из другого времени другим человеком, да, пожалуй, и о другом человеке тоже. О том, как ушел Михаил Иванович, пошел легко-легко, остановился, застыл, замер. Конечно, надо было действовать — ведь говорил он мало, а писать-то уж вовсе не писал. Когда рывок был сделан, инерции движения хватило лет на двадцать, но — наружу. В себе он оставался неподвижен. В первый раз, в 1917-м, все разрешилось поражением настолько явным, что говорить о нем как о своем было бы непростительной банальностью. Тогда застыть было необходимо, чтобы сделать хоть шаг в сторону, от себя, в другое существование. Во второй раз он застыл как те, кто выиграл только существование и кому ничего, кроме существования, не осталось.

Последнее «вводное» отступление. Связи с прошлым рвутся быстрее, чем успеваешь подумать. Надо спешить, пока точка не поставилась сама собой. Сейчас главное — не перепутать себя с ним в отношении одного обстоятельства. Он — не сдавался. Не потому (как я и вы), что случая не было, а потому, что этого не было в *нем*. Преждевременная сдача была чертой моего поколения (оно же — поколение Ивана, младшего сына Михаила Ивановича). Сдавались сразу. Сдавались до предложения почетной сдачи с оставлением личного оружия и с сохранением права ношения мундира и знаков отличия. Сами срезали пуговицы, снимали пояса и выдергивали шнурки из ботинок. Не все, конечно, но очень многие. Особенно в молодости. Некоторые такими и рождались, между двадцатым и сорок вторым — таков был подлинный срок их появления, — уже сдавшимися.

Немногие несдавшиеся несли это, свою не-сдачу, как скрытое значение, позднее ими самими же

открытое как назначение. То есть как существующее уже для (ради!) других. С ним они вошли в шестидесятые годы бескрылыми победителями, не боясь дурных предзнаменований, которые исходили из них же самих и потому не прочитывались, оставаясь в помарках, оговорках и недоговорках. Ведь дело-то в том, что сама *идея* сдачи жила в нас (как в наших отцах —предательства) одновременно как позор и... опека, даже защита. А значит, было одновременно стыдно и успокоительно.

Глава четырнадцатая

Потеря походки

После нее он уже никогда больше не выходил из своей квартиры в казармах своим прежним шагом.

М. Пруст

Человек, который приходит к любовнице таким же, каким он покинул свой дом, отправляясь к ней, — не любовник. Путь, сколь бы он ни был короток или бездумен — если, конечно, они не живут вместе или она не приходит к нему, что совершенно другое дело и не имеет никакого отношения к Михаилу Ивановичу, — есть путь думанья (чувства, воображения, все равно). На этом пути человек сокращается (думанье — центростремительно) и приходит к ней сжавшимся, втянутым в себя. Отсюда — бурные любовные ссоры, столь частые либо в преддверии часа страсти, либо немедленно следующие за ним: он слишком быстро разжался (страсть — центробежна), спеша вернуться к себе, еще не отправившемуся на свидание, не дав ей времени привыкнуть к перемене.

Элизабет Сазерленд вышла замуж, когда ей было двадцать два года. До этого у нее был один любовник, капитан Ричард Эрмин, демобилизовавшийся в ноябре 1917-го из-за ранения в шею и собиравшийся «послать все это в...», изучать медицину в Эдинбурге или Сент-Андрюсе и лечить негров или кого там еще (он точно не знал) в Мозамбике или на Мадагаскаре. Их связь значительно облегчалась технически тем, что в доме из-за войны почти не было слуг; дворецкий Эдвардс, кухарка и две приходящие служанки едва ли были помехой ночным проникновениям невысокого, крепкого и очень смуглого джентльмена в белом гипсовом ошейнике, так же как и его довольно поздним, зачастую по-полуденным, исчезновениям из божественного гровенорского дома (брата Адам, конечно) родителей Элизабет (мать смотрела за старым па в Хэмпшире). О этот дом! Как кусок кремowego торта, вырезанный из гофмановской сказки, он стоит передо мной сейчас с вывеской PRC Chemical United!

Неутолимая чувственность Ричарда была для Элизабет плохой подготовкой к браку с Джеймсом, герцогом Сазерлендским, и к наступающей эре кондомов, жиголо, рабочих беспорядков и чарлстона. В своих склонностях и предпочтениях Джеймс был гораздо дальше от супружеской спальни, чем Мозамбик и Мадагаскар Ричарда (а позднее и Михаила Ивановича) от лондонской резиденции или шотландского замка Сазерлендов, где «разнокалиберная» чета (как их прозвал Ричард) обычно проводила летние месяцы. Ричард, на правах старого друга семьи — к этому времени он уже отказался от мечты о медицинском миссионерстве и «пробовал» себя в банковском деле, — ввел своего нового знакомого в дом к Сазерлендам.

Нельзя до бесконечности метаться по северо-западному Кенсингтону: географическая ясность здесь совершенно необходима. Она вводит во временные рамки эфемерного рассудка твою одержимость не-твоими делами и домами. О, мне не повторить путей и дорог того, кто никогда, без крайней нужды, не прошел бы пешком и четверти мили! Говорят, но этого не проверишь — даже Елбановский точно не знает, — что в 1918-м он пешком прошел сотни, если не тысячи, километров, пробираясь из Архангельска в Омск. Еще одна легенда? К черту Архангельск и Омск! Я прохожу не-его шагом по Ленсдаун-Род, не позволяя себе усомниться в моей гипотезе, что Элизабет Сазерленд жила именно там, в том самом четырехэтажном сливочно-белом особняке, через два дома от «Дома молодых художников», где, согласно мемориальной табличке, обитал легендарный Чарлз Риккеттс. Все эти улицы и дома — пример кузминского *кларизма*. Кларизм — это восторжествование внутренней разделенности объекта над неопределенностью твое-

го видения этого объекта. С точки зрения кларизма, «смешанные чувства» — это выражение, которые ты имеешь право употреблять, только если сам точно знаешь, что с чем смешано. Так же как и «черно-белый дом с дверью неопределенного цвета», где важно, что цвет двери — *определенно* неопределенен в сочетании с кремовыми простениями и черными квадратами фасада (это — Ленсдаун-Род).

Нет, роман — как жанр, а не отвлекающее занятие — не должен страдать от бесконечных отступлений... Человек, никогда не мерзнувший в Сибири и простужающийся от сквозняка в Петербурге, в любую погоду прошагивал из конца в конец Ленсдаун-Род, совершая путь во времени, от Пьеретты к Элизабет. Перейти от одной любви к другой можно только связав их топографически — думал я, шагая за его длинной тенью. Интервал в семьдесят лет ничего не значит — у любви нет истории. Только место. В конце концов, кларизм здесь — реакция на многозначительность, которой нет места в романе.

От лет тяжелой страсти к Пьеретте — к неделям больной ревности к Элизабет. Согласно Ричарду, ее «максимум» с очередным любовником — пять недель (потом тебя отставят). Шла одиннадцатая неделя, муж грозился его застрелить, роман переместился из Пертшира в Вестминстер. После нее он всегда работал с утра, не ложась спать. Хорошо, если удавалось прикорнуть на полчаса после ланча. В четыре он пил кофе с Елбановским. Тот обычно, после краткого приветствия, легким движением искусного картежника веером выбрасывал на стол пять-шесть карточек. Сегодня Михаил Иванович прочел на одной из них: «Вчера был убит Вальтер Ратенау». — «Важно проследить реакцию биржи», — сказал Елбановский. «Гораздо важнее, как *мы* реагиру-

ем, а не биржа, — усмехнулся Михаил Иванович. — До биржевиков ведь не дошло, что, убив Ратенау, немцы убили не еврея-либерала, а еврея-германофила, который во время войны помог им создать лучшую в мире военную промышленность. Непонимание — факт сознания, а не экономики. Этого Ратенау понять не мог, как и Валленберги, тоже еврей-германофилы». — «Неужто это так важно?» — «Важнее всего. Еврей-капиталисты с верой в Германию создали финансы и промышленность для немцев. Еврей-коммунисты с верой в Советы сделают то же для русских. Убив Ратенау, немцы начали убивать веру евреев в Германию. Кончат они тем, что вместе с верой убьют и самих евреев. Всех. Советы — тоже, я думаю, пойдут в этом за немцами, если успеют». — «Неужели все это так... автоматически?» — «Абсолютно и безусловно так, коль скоро ты уже оказался вставленным в этот механизм любви, подозрения и ненависти. В особенности, если ты — во множественном числе, группа, род, нация». — «Нусс, — улыбнулся Елбановский, вставая и собирая со стола карточки, — так продавать или покупать?»

Михаил Иванович допил согретый в руке коньяк. «Еще года два-три — продавать и покупать. Потом — все продать, все. Иметь дело только с чужими деньгами, банками и компаниями (и женами — добавил про себя Елбановский, хотя это относилось к настоящему). Ничего своего, кроме наличных. Да и те лучше тратить как можно скорее, пока Европа и Америка будут соревноваться, кто из них себя полней разорит и обезоружит к началу будущей войны с Германией. Ну, желаю приятного вечера. Сегодня я — на Боровском».

Сегодня после концерта (или это было уже завтра) он был «на Элизабет». Длинными ногтями она проводила полоски от его затылка к плечам, в обе

стороны, раз, два... «Ты считаешь?» — «Это — число недель сверх положенных пяти?» — «Ричард — свинья и трепло. Встань с меня и зажги мне сигарету». Потом, быстро и мелко затягиваясь: «В среду в девять Ричард за тобой заедет. По дороге в замок будете останавливаться только для заправки. Нигде не ночевать. Ночи с тобой для меня слишком драгоценны. Когда приедете, тогда приедете. В моей спальне тебя будет ждать холодный ужин. Ричард переночует в спальне моего кузена, где и ему будет оставлен ужин. Он уже давно получил свое наперед. Не забудь взять плед, который я тебе подарила, и укутай в него ноги. В дороге не разрешай Ричарду пить. Иди, я устала».

Он взял такси у Холланд-Парка. После ночи на Боровском и Элизабет, шопеновские прелюды мотыльками порхали в пустой от счастья голове. На губах — вкус ее сигарет. Когда он с ней, она не разрешает ему курить свои, слишком крепкие. О сигарах не может быть и речи, так же как о кондомиках и случайно вырывавшихся у него французских выражениях (русские — пожалуйста!). В ней не было ни автоматизма, ни противостоящей автоматизму переменчивости. Одна власть. Страсть? — О ней знала только она сама. Что-что, а страсть, даже если она у нее и была, никогда не смогла бы стать ничьим оружием, даже ее собственным. Знание? Она знала все, что хотела, но это ровно ничего не значило в ней или для нее.

Но, Боже, как знать, но самому этого не делать? [Знание существует только для частичной продажи, как любил повторять Елбановский.] Только в любви знать и делать — одно и то же. Поэтому там нет места свободе, всегда предполагающей их разделение. Сейчас банки и компании разоряются не от неоправданного риска, а от страха и незнания. Лю-

ди — тоже. Точнее — от страха знания. Когда едешь в машине, отчаяние стихает.

Они проехали Карлайль, и Ричард ему сказал, что Джеймс, не шутя, намерен его убить. «И не надейся, что он это сделает в ее спальне. Он подождет, пока утром ты спустишься за ней в сад, замахнется на нее хлыстом, а когда ты рванешься, чтобы заслонить собой даму сердца, выпалит тебе между глаз из двухстволки так, чтобы всю ее залить твоими мозгами». — «Эка жалость, что ты не избрал карьеру судебного медика, — засмеялся Михаил Иванович. — Яркость и точность воображения — как у Дягилева». — «Шотландские родичи Джеймса очень на это рассчитывают, — продолжал Ричард. — Судья безусловно объявит его недееспособным, и он вместе с гигантским состоянием перейдет под их опеку». — «А жена куда перейдет?» — «К молодому Чарлзу Линдбергу, я полагаю. У нее слабость к авиаторам». — «Как противно! Он — антисемит и германofil». — «Не все ли тебе будет равно, когда тебя соберут по кусочкам и зарюют где-нибудь на границе Пертшира и Дамфриза?» — «Меня должнь: похоронить в Монако, — сказал Михаил Иванович, — Кстати, очень тебе рекомендую купить фирму Робинсон и Альтаузен. И как можно скорее, если достанешь денег. Через три месяца, самое большее, они разорятся в пух и тебе станет дороже выкупать ее у ликвидаторов».

Как выкупить себя у прошлого? Его кровь, смешавшаяся с капельками росы и пота на лице Элизабет, после утренней страсти (смягченная версия сцены, нарисованной Ричардом), — образ, способный развлечь на пять минут. Но где те мгновенья просветления, на которые прошлое выпустит его из своих когтей. Где тот детский сон освобождения, от выхода из Петропавловской до Торнио? Только

осатанелая ебля с Элизабет и реальная близость физической смерти давали временное облегчение.

Машина резко свернула на северо-восток. Три недели, как он вернулся из Франции, где женился гражданским браком на Пьеретте (и через пять дней развелся), чтобы дать детям свое имя. (В 1989-м Иван сказал, что он это сделал потому, что тогда не мог давать своим незаконным детям приличного, с его точки зрения, содержания.) Он тогда пребывал в истерике самообвинения («Что за беспомощный акт моральной компенсации!» — прокомментировал Елбановский после его возвращения). Езды оставалось часа четыре. Она будет лежать, накрывшись с головой, и только выпростает руку, чтобы принять от него бокал с шампанским. Потом, не ожидая, пока он кончит есть, бросит бокал на ковер и сделает привычный повелительный жест («Сейчас, сюда»): тридцать секунд, чтобы раздеться («размотаться», *unwear yourself* — ее выражение) и впрыгнуть в постель. Говорить и смотреть на него она станет только минут через двадцать («после первого глотка» — опять ее выражение).

Элизабет ждала у ворот парка — оттуда еще добрых пять минут езды до замка, — закутанная в мужской непромокаемый плащ и в веллингтонах (не прощаться ли будем?). Поцеловав его в лоб и чмокнув в щеку Ричарда, уселась на заднее сидение и велела ехать к входу для слуг (сегодня у Джеймса гости). У него занемела спина. Он расшагивал по огромной спальне, согревая в руке фужер с Энесси (от шампанского отказался), и рассказывал о своей долгой дороге. В камине затрещало и рассыпалось красное полено. От ужина он тоже отказался. Она, расстегивая на нем рубашку. «Я забыла спросить, как было на Браилловском?» — «Это был Боровский». — «Наверное, в них есть что-то общее, если я всегда

их путаю». — «А что же, все-таки?» Она, стягивая чулки: «Гений выражения себя в Шопене и — забвения себя в нем. Я тоже забываю себя, когда их слушаю. Но мне кажется иногда, что музыка — не вся в этом». «Любовь тоже», — подумал Михаил Иванович, поймав себя на том, что он произносит про себя это слово впервые в жизни в отношении конкретной женщины, а не вообще, конечно.

«Подумайте только, — говорил Ричард за завтраком, разворачивая салфетку, — с момента, когда я открываю утром глаза и до момента, когда я разворачиваю салфетку, я совершаю сто сорок три (по крайней мере, какие-то я мог и не посчитать) различных физических действия — весь ритуал моего утреннего туалета, так сказать. Я могу совершать все эти действия или какие-то из них автоматически, либо осознанно. Это будет зависеть от моего решения. Но главное — это то, что я могу осознать эти сто сорок три действия как одно *целое*. Только после его осознания как одного целого оно и становится таковым, то есть — ритуалом. Значит, ритуал есть сознание ритуала».

Быстрым одновременным движением ножа и вилки он извлек все кости из жареной копченой селедки и выжал на нее половинку лимона. Элизабет съела один тост с ломтиком бекона и сидела, отодвинувшись от стола и заложив ногу за ногу. Михаил Иванович допил третью чашку кофе и закурил. Джеймс был с раннего утра на охоте, и его ждали к ланчу. «Хирургическая операция — не ритуал, — продолжал Ричард, — и не только потому, что много может случиться непредвиденного и требующего изменений в количестве и характере действий, а потому, что это непредвиденное может оказаться гораздо важнее того, что можно было бы назвать «ритуалом операции». Ритуал ведь всегда — только

то, что он есть. То самое сознание, которое ничто не может изменить». — «Тогда, — Элизабет вынула изо рта Михаила Ивановича только что зажженную сигарету и глубоко затянулась, — тогда я бы поместила еблю между ритуалом и хирургической операцией. Ее ход предвиден и осознан, как в ритуале, но возможны перебивы, как в операции». — «Перебивы чем — любовью? — спросил Михаил Иванович, — или — страхом?» Она, сигаретой в сторону Ричарда: «Ты разве боялся, когда был со мной?» — «Нет, но ведь ты меня и не любила». «Резонно, — подумал Михаил Иванович, — у Ричарда — страсть минус страх вместо любви. У меня — страсть плюс страх из-за любви. Для нее страх всегда — у других. Сама она ничего не боится, пока. Не пора ли ехать?»

Вечером следующего дня он сидел на скамейке перед церковью Сент-Майкл, в двадцатый раз перечитывая ее телеграмму из двух слов: «Как обычно». Без подписи. Вчера, вернувшись из замка в Лондон около одиннадцати, он внезапно решил не ночевать в своем отеле. Он попросил Ричарда остановить машину в трехстах ярдах от Гровенора, сказав, что хочет пройтись перед сном, пошел в другую сторону и снял номер в первом же попавшемся ему на глаза отеле в Челси. Сегодня в девять утра пришла эта телеграмма. Но как? От кого могла она узнать, где он будет ночевать, когда сам он не знал об этом за минуту до того, как спросил себе номер? Значит, либо Ричард, оставив машину, последовал за ним, а потом ей позвонил, либо она сама узнала о его другом отеле от одной из трех сторон, которые могли бы им интересоваться — английской, германской или советской (но тогда они должны были бы следить за ним постоянно!). Первое было маловероятно, хотя и вполне возможно. Второе — гораздо более вероятно, хотя гораз-

до менее возможно, ибо стоило ли ради ее прихоти (только ли?) рисковать раскрытием *такой* связи! Третье... Нет, наверное, это все-таки Ричард, хотя он несколько бы не удивился, узнав, что Георг Пятый и Элизабет пользуются агентурными услугами одного и того же человека.

Пробило девять на колокольне Сент-Майкла. Хорошо. Будем считать это мелочью. Быть с ней хотелось нестерпимо. Через пять минут она сама откроет ему дубовую дверь неопределенного цвета и, схватившись обеими руками за отвороты его вечернего пальто, как за ошейник, рванет его вглубь холла, к себе на грудь. Он прочел молитву Михаилу Архангелу и шагнул за ограду.

В предрассветных сумерках она склонилась над ним и долго смотрела ему в глаза, не выпуская из губ погасшей сигареты (не прощаться ли пора пришла?). Он прижал к груди ее лицо и сказал, что хочет, чтобы она развелась с Джеймсом, и тогда он, кавалер своего ордена, женится на ней, и они будут жить долго и счастливо и умрут в один день. Длинным с горбинкой носом она уткнулась в углубление под его шеей (длинный нос — мелкая пизда, говорил его кузен Андрей Рогастов): «Это — шестое предложение такого рода, *my darling*, и единственное, где не фигурирует план, как избавиться от Джеймса. Когда я выходила замуж, он мне обещал полную свободу («Только держи от меня подалее моих ебанных родственников, это — твоя ответственность»), а я обещала его матери удерживать его в пределах, так сказать. Пьянка, охота и мальчишки, всякую неделю новые, развращенные слуги, ленивые арендаторы, скользкие стряпчие. Каждый день я провожу за счетами и письмами девять-десять часов. Так я отрабатываю свою свободу, тебя, — она остановилась, — и других.

Джеймс — не испорченный ребенок, а врожденный подонок, и притом железного здоровья. Если его кто-нибудь раньше не убьет, он переживет нас с тобой (что неправда, он сгорел живьем в танке в Сицилии в 1943 г.), и мы не умрем в один день (это — правда, она еще жива). Ты лучше больше ко мне не приходи, а то очень скоро я не смогу без тебя обойтись». — «А ты не можешь просто так — любить меня, забыв все прошлое?»

За плотными шторами давно рассвело, но в спальне, с тускло догорающим одиноким поленом в низком широком камине, продолжалась ночь. «Когда ты меня ебешь, я питаюсь от твоей силы, — она закурила от угасавшего пламени, — и впитав ее в себя, могу продолжать жить как живу. Проползай, как ящерица с отрубленным хвостом, оставляющая мокрый след на песке — от прошлого к... если это можно так назвать, настоящему. Это из-за твоей силы я еще могу продолжать все это. Пока ты со мной, мне не уйти к жизни новой...» — «Vita pioua, — усмехнулся Михаил Иванович, — я — отрубленный хвост».

Через двадцать лет, увидев ее в форме сестры милосердия в пропахшей хлороформом палате для умирающих солдат в Марсден Роял Хоспитал, он содрогнулся от тоски и нежности. Сейчас, после шести часов утренней работы и двух чашек кофе с коньяком, он подумал, что Лондон — это гигантская ловушка для колеблющихся. Еще бы! Добровольно дать себя упаковать в грязно-серые клочья лондонских туманов, посредине между благословенным аквариумом Лазурного Берега и холодной чистотой бергенских фьордов. Кстати о фьордах. Что-то начало прорезаться в Стокгольме. Деньги, пусть небольшие, потом — посмотрим. Елбановский пришел позже обычного и протянул ему одну

карточку. Восемь строчек: сейчас самое перспективное — монополии на производство товаров первой необходимости. Фермеры будут выливать вино в Рону, пшеница будет гореть в паровозных топках, а Форд уволит половину персонала. Люди годами будут ходить в одних и тех же ботинках, ездить на тех же машинах, есть из той же посуды и экономить на кофе, сахаре и сигаретах. Но им не обойтись без ниток, чтобы заштопать худые носки или рубашки, без веревки, чтобы перевязать тяжелый пакет, или без спичек. «Никто ведь не будет жечь спички в паровозных топках, не так ли, Мишель?» А не есть ли любовь тоже — монополия на тело, голос и душу женщины, которой ты добиваешься за счет интересов других, явных или тайных претендентов или ее самой — именно чтобы монопольно же потреблять то, что теоретически, по крайней мере, не подвержено спадам и подъемам потребительской конъюнктуры.

«Кошмар какой-то», — думал Михаил Иванович. Старик Бюхер выгнал бы меня из класса, даже не отругав. И это было бы первым случаем в истории лейпцигского экономического семинариума. Не говоря уже о безвкуснейшей аналогии с любовью. О спичках, однако, стоит подумать, не связывая их пока с носками, веревками и любовью. А это возвращает его на Север, в Швецию и Норвегию, к людям, с которыми он уже как-то связал странную свою жизнь. Он хотел и не хотел этой связи — как с Элизабет. Тогда не так уж неправ Игорь: жизнь желаний сама создает себе аналогии, пусть безвкусные.

Пора поставить точку. Самолеты в Стокгольм тогда еще не летали. Но можно было вполне безопасно достичь этого места поездом с двумя паромными, если ты не отдашь предпочтения умеренно комфортабельному пароходу со «шведским сто-

лом» вместо завтрака в постели и ланча. Надо было еще обдумать второе письмо Маркусу Валленбергу, банкиру, и последующий разговор с его братом, графом и в прошлом его коллегой, министром иностранных дел.

А тогда как не повидать и двух «маленьких кавалеров», жаждущих встречи с ним в Стокгольме. Были слова, никогда им не произнесенные, о которых через много лет он стал думать как о существующих только в их не-произнесении. Не было ли страшного соблазна их произнести в его беседах с Николаем Михайловичем, Поэтом, Мюриэл и с — Элизабет? Но удача ли это, что он удержался и в последнюю ночь на Ленсдаун-Род? Ха-ха, через десять минут после оргазма сообщить Элизабет, что это из-за него десятки людей потеряли честь и десятки тысяч — жизнь! Нет, сродство душ обманчивее сродства тел. Но когда он смотрел в глаза Крымову за три месяца до катастрофы, не казалось ли ему, что они — один человек, один казак? Что нет нужды в словах и лучше уж пусть тот поступает, как сочтет нужным. Не того ли он хотел и от нее? (Через пизду не научишь — посмеялся бы Андрей Рогастов.)

Младший из шведских кавалеров Густав, бывший штейнерианец, любил повторять, парафразируя начало «Коммунистического Манифеста», что «ветер кармы гуляет по Европе». Что ж, метафора как метафора — даже не банально. Михаил Иванович вспомнил, как в 1912-м в Москве безымянный офицер того же ордена сказал, что в момент оргазма, как и в мгновение смерти, действие кармы приостанавливается, хотя и то, и другое кармически обусловлено.

Итак, он едет в Швецию, чтобы заработать немного денег. Появлялся ли он с тех пор на Ленсдаун-Род, я не знаю.

Глава пятнадцатая

Выход из игры

Единственный выход... выпасть из игры.

В. Набоков

Выход из игры — вечная тема европейского романа. Еще задолго до начала романа. С царя Эдипа. Эдип очень не хотел выходить из игры. Это сделала за него судьба. Или Аполлон. Но играл он сам и никто другой. Как ты и я. Потом обстоятельства (или судьба?) могут нас заставить покинуть игру, или мы сами можем передумать. Или, в конце концов, нас просто могут убить, но тогда это — не в счет. Ибо даже будучи вынужден покинуть игру, я должен это знать — то есть осознавать себя ее покидающим, что в случае смерти не всегда возможно. Вообще, дело тут не в неминуемости проигрыша — хотя и это может иметь немалое значение, — а в том, что герой романа перестает отождествлять себя с играющим эту игру.

Пять часов в поезде из Гетеборга в Стокгольм и десять минут в такси от Центрального вокзала до Гранд-Отеля принесли решение о выходе из игры. Точнее, не решение, а простое осознание факта. Для этого нужна прекрасная Скандинавия. Самое чужое место на свете. Как пять лет назад, божественная пустота наполнила его — опять короткая передышка. Полчаса в горячей ванне. Стокгольм — колыбель для иностранца, — сказал Линдси, философ из той самой «фирмы», пытающийся связать пред-военное время с после-военным. Эта «связь времен» была их, его и Линдси, игрой, которую он решил покинуть (вместе со спальней Элизабет) для новых удач и поражений.

Линдси и Брус были двумя полюсами весьма причудливого и в высшей степени *частного* мира — мира «фирмы». Брус пожимал плечами — ну, мой дорогой Мишель, мы же с самого начала понимали, что для вас наша игра была — вашей. Ваше решение бросить ее или продолжать нас, собственно, ни к чему не обязывает. Как, впрочем, и вас,

если не говорить о ваших обязательствах перед самим собой. Наш договор остается неписанным — точнее, неподписанным в отсутствие высоких договаривающихся сторон, так сказать. Ну, а если вам случится вернуться, то будет незачем вести себя так, как будто вы и не уходили (Брус был немного пьян). А если вы стали в тягость самому себе — я не буду входить в интимные подробности, — то я бы отнес это скорее за счет вашего ренчант к аристократическим шлюхам, нежели вашего разочарования в прежних, хм, идеалах.

Линдси был идеально трезв, чуть-чуть грустен и безупречно четок. Нет ни старого мира, ни нового. Не надо ставить диагнозы времени. Но когда прежнее молодое (воевавшее) поколение почти поголовно выбито, то оставшимся в живых приходится брать на себя роль посредников между старыми кретинами и молодыми (невоевавшими) идиотами. Друг мой, политики — нет. Есть ваше физиологическое отвращение к Германии, ваш абстрактный республиканизм, и глубокое недоверие к самому себе — чувства, которые я всецело разделяю, но не делаю из них никаких политических выводов. Вы — абсолютный индивидуалист. То есть, у вас есть свой мир, и если весь мир ему не соответствует, то к черту весь мир. Я — относительный индивидуалист. Честно говоря, у меня нет своего мира. Живя между двумя непонимающими друг друга мирами — миром моих юных подчиненных и миром моих престарелых начальников — я пытаюсь объяснить каждому из этих миров другой, не отождествляя себя ни с одним. Так мне пока удается избежать шизофрении. Человеку со своим миром, как вы, это гораздо труднее.

То, что этот не первый его приезд в Стокгольм совпал с концом игры с ними, теперь казалось ему

вполне натуральным. Ну еще бы! Где возьмешь другую такую страну, в которой неучастие в делах, обстоятельствах и чувствах остального мира стало этическим признаком (и эстетической формой) существования. Где за отход от этого принципа человеку, семье, всей стране приходится платить — и дорого. А чужеземцу, бросившему недоигранную партию в Лондоне и приехавшему мыкать свою грусть-тоску в северную столицу, — что ему? Знал ли он, что без давления мира другого — ведь все чужие — оставленный ему его мир вылетит из его телесного мешка, как пузырек воздуха из аквариума? Пустой, горячий и чисто вымытый, он допьет свой коньяк в баре Гранд-Отеля и пойдет напрямик от канала, к главной синагоге. Оттуда пять минут — и ты у Валленберга.

Он любил Маркуса Валленберга как пример и залог быстро исчезающей европейской устойчивости. Больше ста лет непрерывного успеха самого солидного в стране банковского дома (хотя Михаил Иванович не мог не отметить про себя, что еще семь лет назад он *лично* был богаче всех Валленбергов вместе взятых) великолепно воплотились в его последнем президенте. Спокойная расчетливость здесь удобно сочеталась с готовностью пойти на некоторый риск, неназойливая добропорядочность со снисходительной терпимостью и светская корректность с семейной душевностью. Здесь не было соблазна игры, как и выхода из нее, то есть — отступничества. У дома Валленбергов, как и у всякого другого, был свой предел. Черета здоровых и прекрасно воспитанных молодых людей оседала на ступеньках параллельных иерархических лестниц: дипломатической, гвардейской, финансовой, военно-морской. При всем этом, однако, оставалось одно, кроме семейного, объединяющее начало —

немецко-еврейское. Здесь намеки полубезумного Бурцева обретали свой конкретный, скажем, «этно-политический» смысл: после франко-прусской войны, знаменитый шведский нейтралитет неумолимо поляризовался на про-французский и про-германский. Ни для кого не было тайной, что последний был сильнее, глубже и распространеннее.

«Когда в Германии восторжествует порядок, — продолжал Маркус, — а на это не понадобится много времени, будет поздно думать о монополиях. Этот порядок будет означать одну обще-европейскую сверх-монополию, в которой не будет места опоздавшему. Сейчас, пока порядка нет нигде, нам обоим необходимо... Тогда уже нас никому не выбросить — новая Европа не забудет старых друзей...»

Служанка внесла десерт. Что это, уверенность порядочного человека, что никто, никогда не будет вести себя с ним непорядочно, или наивность простофили, уравнивающего порядок с добропорядочностью? Или, в конце концов, примитивный рефлекс дельца — скорее заработать на хаосе, пока не установится порядок? Но какой порядок? Нет, этот человек хочет верить, что порядок в Европе, это — порядок в Германии. Хочет? Но имеет ли банкир право хотеть? Маркус — человек воли, но... Михаил Иванович ощутил будто укол, как если бы он оказался свидетелем никому (да и самому Маркусу тоже) невидимого и неведомого *сомнения*. Сомнение — не есть ли оно первая трещинка в столетней уверенности, первый симптом страха поражения? Не время ли, закончив разговор о делах, обронить одно случайное слово, один пусть неуместный намек, от которого протянется ниточка интимности или, что тоже может случиться, оборвется и эта едва начавшаяся дружба.

«Рапалло, — звучал нагретый жаром гостиной

низкий мягкий голос Маркуса, — могло бы быть началом этого органического для обеих разоренных стран союза. Этот союз успокоит жажду реванша у немцев и поможет разумной организации русских». Боже милостивый, не сошел ли этот человек с ума! Или он уже пытается заглушить сомнение? «Господин Валленберг, видели ли вы когда-нибудь своими глазами, ну, Людендорфа?» — «Не имел удовольствия». — «А Ленина?» — «Разумеется же нет, но думаю, что эти два человека вполне могли бы договориться при личной встрече, если, конечно, этому не помешает третья сторона. Сам я от всего сердца был бы готов содействовать этому сближению всеми имеющимися у меня средствами (а не содействовал ли уже? — Опять бурцевские намеки). Но вернемся к делу. Ваши соображения насчет конкретных монополий не только разумны, но — талантливы. Право же, я не могу понять, почему вы, с вашим незаурядным даром проникновения в европейскую экономическую ситуацию и с вашей удивительной коммерческой интуицией, хотите работать на других? На меня, на Хамбро, например. Почему бы вам не основать собственный торговый банк? Я вас немедленно поддержу и деньгами и связями».

Время для намека — упущено. Как и для нового банка. Как и для... Ладно, пора кончать. «Я вам бесконечно благодарен. Но я не хочу искушать мою, хоть и прихотливую, но благосклонную судьбу и вообще начинать что-либо большое и новое. Возможно, однако, что я женюсь когда-нибудь, и единственное, чему я хотел бы сейчас посвятить время, — это заработать какие-то деньги для содержания будущей супруги и детей, если таковые появятся. Заработать, работая для других, в крайнем случае, для своей, но очень маленькой компании (он вспомнил слова Линдси: наша очень маленькая

компания, с крайне ограниченной ответственностью). Он допил свой коньяк: «Но если вы позволите мне в последний раз вернуться от паровозов, копы и спичек к Европе, то, боюсь, что сделано, то уже сделано, или, скорее, того, что не сделано, уже не сделаешь. Остается — безнадежная попытка индивидуального искупления: один — против всех, своих, в первую очередь».

Любимому племяннику Маркуса, Раулю, шел тогда двенадцатый год. Он учился в закрытой школе в Равенбо и изумлял учителей способностями к языкам и рисованию и неумемной ранней похотливостью. Его ровесники и современники — будущие трупы — ходили в государственные или частные школы, хедеры, гимназии или военные училища. Михаил Иванович не знал, что в своей заключительной фразе Маркусу провозгласил *другую тему века* (и вторую — этого романа). Все еще улыбаясь собственной риторике, он спускался по парадной лестнице валленберговского дома, когда увидел ярко освещенную миниатюрную фигуру молодого еще человека в армейском кителе без погон и с легкой черной тростью.

«Если вы в свой отель, господин министр, то позвольте мне вас сопровождать в качестве почетного эскорта». — «О, с удовольствием, мой капитан, и давайте не будем спешить. Этой ночью южный ветер мягок и ласкающ». Капитан Гамильтон, переведшийся из гвардии в армию и уволенный в запас из-за шрапнельного ранения в ногу (где и кем он был ранен, оставалось деликатной подробностью шведского нейтралитета в действии), был необычайно популярен среди молодых Валленбергов, но избегал обедов и ужинов с участием старых.

Они прошли Синагогу. «Я отвык от маленьких расстояний этого города, — сказал Гамильтон, — но

боюсь, что этот проклятый щелчок по ноге приговорил меня к смерти здесь, среди этих стен и набежных. Я принимаю приговор». — «Сегодня я тоже приговорил себя к смерти в собственной постели, — сказал Михаил Иванович, — хотя неизвестно, где и с кем. Не странное ли совпадение, капитан? Поверьте, как и вы, я вышел в отставку, чтобы быть *одним* — коммерсантом, мужем, отцом, может быть...» — «И беседа со стариком Маркусом запечатала решение?» — «Да, если хотите». — «Но только ли? В ваших глазах, когда вы спускались по парадной лестнице, я прочел и другой приговор. Он что, тоже был запечатан этой беседой?» — «Я не хочу отвечать, иначе я не засну сегодня ночью». — «Хотите. И вы все равно не заснете сегодня ночью». — «Я люблю Маркуса. Он то, чем я хотел бы стать, ну, не в таких масштабах, конечно». — «Ну да. Поэтому этой ночью вы выпьете бутылку, ну две, коньяка, с одной очаровательной девушкой, наверное, чтобы подготовить себя к утреннему свиданию с другой, тоже очаровательной девушкой, за которым последуют уже совсем другого рода свидания с двумя или тремя старыми знакомыми. Этим будет положено прекрасное начало вашего превращения в Маркуса Валленберга. Знаете, дорогой министр, я начинаю серьезно опасаться, что мой совсем еще юный друг Рауль слишком рано последует вашему примеру».

Они остановились перед отелем. «Я не учить сюда приехал, а по делам, — сказал Михаил Иванович, — что же до вашего весьма, я бы сказал, соблазнительного описания моего стиля жизни, то что еще можно ожидать от закоренелого, но еще не совсем постаревшего бонвивана — пусть даже и с мечтой об искуплении». — «Это вы старика собираетесь искупать, господин министр?» — «Нет, капитан. Старик — не предатель. Предатель знает, что

предает — старик просто — ошибается». — «Но вы же ему сказали — он знает теперь?» — «Повторяю, я здесь — не учитель. И сказал от себя и, позволю себе добавить, — о себе».

Капитан сделал шаг назад, выпрямился и отсалютовал тростью: «Все понял, господин министр. Разрешите повторить: вы искупаете себя, так как знали, что делали (он опустил «предавая»); господину президенту банка себя не искупить по причине полного невежества — будем называть вещи своими именами, — так что делать это придется, согласно вашей же идее перехода долгов в следующее поколение, кому-нибудь из младших членов семейства, Раулю, например; а я займусь искуплением кого придется, следуя собственным прихотям и склонностям. Теперь разрешите отбыть по месту назначения — в распоряжение штаба моей собственной армии».

1988 г. Март. Я. Что делать, об одном месте можно писать только из другого. О времени — тоже. Теперь — *мой* Стокгольм. Шестиэтажный дом постройки двадцатых годов на Риддарсгатан — почти копия моего на Соймоновском, в Москве. Две очаровательные дамы, сестра и кузина Рауля, — из моих же тридцатых. Опять мания! Время моего детства, всех воспоминаний о котором едва ли хватило бы на двадцать страниц плохой автобиографии, из которых половина выдумана мной же самим. Все слишком просто: Михаил Иванович двадцатых—тридцатых мне необходим для *восстановления* времени, которое моя память не могла удержать, но удержало чувство. То беспредметное чувство, которое сейчас, через пятьдесят лет, требует восполнения себя чужой волей и памятью.

Нет, моих дам несколько не интересовали ни Михаил Иванович, ни начало века, ни какая бы то

ни было история, включая их собственную. Что поделаешь? Потомки основателей банковских династий занимаются благотворительностью, зоологией перепончатокрылых, теологией или восстановлением справедливости. Их ли дело восстанавливать память? Таковы Гетти и Мораны, Ротшильды и Монтефьоре. Таковы же и «поздние» Валленберги. От них я отправился в архив банка, где хранитель Герт Ниландер вручил мне пачку копий — восемнадцатилетняя переписка Михаила Ивановича с Маркусом.

О чем она? О копре в Мозамбике, о спичках в Румынии, о долгах и обязательствах разных компаний и фирм. Иногда такой фирмой оказывалась страна. В письмах Михаил Иванович не жаловался и не шутил. Так, когда шведские банки, одолжившие «Азов-Дону» тридцать миллионов крон в 1917 г. (выбрали шведы время!), потребовали возвращения долга в 1927-м (опять хорошо время рассчитали!), он вовсе не считал это чушью. Ничего подобного! Акционеры и кредиторы обанкротившихся компаний должны быть — по возможности, конечно — удовлетворены. Политика, война, революция — здесь не причем. И не надо смеяться (вы и я, мы же — смеемся!): долговое обязательство, это — метафизика, а не экономика. Не только свои долги ты должен вернуть, а отца, деда, брата, если сам получил от них хоть копейку. Более того, если ты захватил чужое имущество, то автоматически наследуешь долги тобою ограбленного. Последнее — это не только о знаменитых «царских займах», но и об уплате Третьим Рейхом австрийских долгов. Конечно, если ты уже родился в семье банкрота, то легче, на первый взгляд, послать все к черту и начать сначала. Но только на первый — многие из тех, кто так сделал, потом об этом горько пожалели. Слишком быстро при-

шло им время, когда, чтобы говорить с другими, ты должен знать, кто ты сам. А это невозможно без прошлого, связь с которым (и самим собой!) ты уже давно разорвал.

[Не знаю, отчего именно здесь мне пришла в голову мысль о... не удивляйтесь — о пароходах. Не оброненный ли Елбановским туманный намек «о неожиданных поздних интересах в Скандинавии», уже никакого, по-видимому, отношения к его с Валленбергом проектам не имевших. Кстати, не хотите ли вы купить почти новый пароход, в особенности если он чертовски, шельмовски дешев (а также каши не просит и водки не пьет, как выразились бы мои «новые» старые соотечественники)? Ни в его письмах, ни в моих шведских разговорах, о пароходах — ни слова. Но зачем тогда — и это ясно из все тех же шведских рассказов — его столь частые поездки в Норвегию в начале тридцатых, куда давно уже не вели его чисто финансовые интересы?

В кафе «Шопен», где я читаю эти письма, весело и очень жарко. За акронимами фирм и техническими подробностями сделок и соглашений я чувствую нарастающую интимность в их отношениях, ту степень незаинтересованной откровенности, где чисто деловое письмо превращается в естественный способ передачи чувств и намерений друг другу. Так, в письме Маркусу, где Михаил Иванович просит его об устройстве одного крайне выгодного дела, он пишет: «Ты прекрасно знаешь, мой дорогой Маркус, что, если ты не сможешь или даже не сочтешь нужным помочь мне в этом деле, ты все равно можешь, как и прежде, не сомневаться в моей любви и преданности тебе. Я сам прекрасно знаю, что я — эмигрант и что это сильно ограничивает возможности моих друзей в отношении меня и моих дел. Я смотрю на это как на факт, без горечи и сожаления».

Это — не кокетство успешливого дельца, сделавшего к тому времени (середина тридцатых) феноменальную финансовую карьеру, и не ловкий ход уверенного в успехе своей просьбы просителя. Просто он точно знал свое положение, как он *сам* его выбрал. Слово «эмигрант» здесь только закрепляло столь рано в нем развившуюся склонность к *равноместности*, то есть его искреннее полное безразличие к «где». Да и не все ли равно, *где* точка, из которой мы наблюдаем любое другое, но всегда чужое место?

Я покидаю «Шопен». Где же тогда капитан Гамильтон с его тростью и ночная угроза «другой» темы? Пока — провал. Но я нахожу другого, совсем древнего и очень маленького человека русско-германского происхождения. Мы — в Гранд-Отеле, у канала, напротив Старого Стокгольма. «Фридрих Георгиевич, — начал я, — кто еще был здесь вокруг него?»

Плохо. Это не Москва и даже не Лондон. История (моя тоже) уходила от меня при первых же словах надоевшего вступления. «Да разные люди, знаете. Больше — не русские. Мы все более растворялись в суматохе двадцатых годов. Вот сейчас говорю с вами и все как будто устраивается в памяти. Но это пришло только в конце тридцатых. А в двадцатых годах Европа была бильярдным столом с беспорядочно разбросанными шарами. Потом, знаете, Гитлер, Сталин, ось Берлин—Рим, ну, как-то «упорядочили» ее, для войны. Ну, он наезжал сюда нередко, иногда два-три раза в месяц. Богат ли был? Не знаю. Безусловно — не беден и всегда занят. С кем он был здесь связан коммерческими интересами, ума не приложу. Говорил со мной больше по-французски, и все — о Европе. Жалел, что ни с каким свержконсорциумом (его старая идея)

ничего не выйдет. Он все: «Я шучу, mon cher. Разум — не для этих людей. Я видел их перед особняком Кшесинской в Петербурге, на Александр-Платц в Берлине, в Вене на Пратере, везде... Их — не устроишь. Негодный шар». Потом он выбирал другой «шар» и гораздо менее решительно — да был ли он решительным человеком? — начинал рассуждать о том, как далека судьба денег от человека, который их тратит или вкладывает в акции: «Расстояние, губительно большое расстояние между средним человеком и его судьбой. Да что там деньги! Что знает человек, высказывающий ту или иную идею об источнике и цели этой идеи? Он не ведает, откуда она к нему пришла и в виде какого конечного результата она к нему вернется. Человек культивирует в себе идеи о вещах, которые он не может себе представить, — исчезает соизмеримость жизни и мышления о жизни. Я знаю, как трудно, продав акции «Шведской Спички» или «Норвежского Рыбодобывающего Треста», видеть в полученных тобою деньгах работу лесоруба в Вармланде или рыбака в Ставангере, трудно, но — возможно. Но увидеть человека светлого будущего в осатанелом орущем кронштадтском матросе или древнего индо-арийца в разбухшем от пива мюнхенском громиле — абсолютно невозможно».

«Боже, — сказал я, — как вы смогли запомнить все это, Фридрих Георгиевич?» — «Да это город такой, Стокгольм, — улыбаясь, отвечал он. — Здесь все происходит последовательно; сначала одно, потом — другое. Работа делается в срок, не раньше и не позже. Оттого вещи необычайные — а каждый его приезд был для меня необычайностью — сами остаются в памяти. Так я его вижу сейчас, в этой зале, в светло-сером костюме, с безупречно повязанным галстуком. Появляется в одно и то же

время, около одиннадцати. Пьет коньяк маленькими глотками. Говорит быстро и очень тихо. Часто о вещах мне не совсем понятных. Однажды сказал, что старается не думать о делах, которые сам не смог бы сделать. Я пожаловался, что не понимаю, он объяснил (это, кажется, было в первую нашу встречу здесь, в двадцать втором году), что, например, не может помочь голодающим в России, но что *мог бы*, если бы нашел людей, способных выполнить работу. Потом добавил: «Но я не могу и не смог бы помочь жителям Европы забыть войну. А не забыв ее, они ничего не смогут сделать». Когда же я решился возразить, что не забыть надо войну, а извлечь из нее урок, то он сказал, что это невозможно, никак невозможно, ибо у этой войны *не было цели*. Просто раз начали, идиоты, то пришлось продолжать и заканчивать. Последнее — он это подчеркнул — ему лично решительно не удалось сделать. Но и это было бы необходимо забыть, что, опять же в его случае, оказалось решительно невозможным. И еще, что если Бог и простит европейцам безумие этой войны, то уж послевоенного их безумия — определено нет. И заключил так: «Еще семь-восемь лет, и Европа станет огромной психиатрической клиникой с неизлечимыми параноиками в качестве врачей и с двумя палатами буйных — германской и русской». Мне как-то грустно было от всего этого. Я тогда уже решил остаться в Швеции. У меня здесь была кое-какая собственность, и я подумывал о женитьбе. Он мне казался бездомным, мечущимся из страны в страну романтиком».

Я согласился, вспомнив последнее письмо из валленберговской пачки. Ну да, он же сам считал, что всякий долг не обрывается на твоём отце или на тебе самом *преждем*, и если ты его не уплатил, то он так и останется с тобой на всю жизнь. Возьми-

те, к примеру, первую войну, когда он... «Войну он не начинал, — убежденно произнес Фридрих Георгиевич, — ее начали его старшие друзья, как и войну с Романовыми. Его собственная восьмимесячная война была, выражаясь вашими же словами, попыткой расплатиться с кредиторами. Я познакомился с ним уже здесь. В тысяча девятьсот семнадцатом я, совсем еще молодым человеком, преподавал математику в гимназии в Або. Тут революция, матросы и комиссары — я на них довольно насмотрелся в Гельсингфорсе — все это сделало чрезвычайно привлекательной соседнюю Швецию. Я уже тогда говорил на четырех языках, включая финский. Выучить еще и шведский было совсем легко. Он в то время жил то в Лондоне, то в Христиании, то еще неизвестно где. Меня с ним познакомил один чудной человек, член какого-то экзотического ордена, не масонского, по-моему. Разговор шел о религии, и Михаил Иванович сказал, что в наше время ничто общественное, коллективное, народное уже не сможет иметь религиозного смысла, а если будет его иметь, то это — ложь или заблуждение. Этнос, культура и государство больше не в состоянии нести религию. Скоро сатана бросит бороться с Богом за души людей — такими жалкими и нестоящими станут их души. Когда я спросил, а что, Бог нас тоже бросит, то он отвечал, что не бросит, ибо *по обету* не может этого сделать, а сатана обета не знает».

Мне стало тяжело. От перегрузки чужим прошлым, наверное. Но не для того ли я сюда и приехал? «Вы отплыли сюда с легким багажом, Фридрих Георгиевич. Когда я улетал из Москвы в Вену, в 1974-м, за плечами было сорок пять лет непростой жизни». — «Я увозил женщину. Мы стояли, обнявшись, на палубе маленького парохода, отплывавшего из Або в Мальме. Она мне прошептала в

уху: обещай, что никогда не захочешь вернуться. Я не захотел. Она захотела, но не вернулась. Умерла от чахотки шесть лет спустя в Гетеборге. Смешно со всеми нашими обещаниями — мы же себя не знаем. Я так потом и не женился».

Господи! Ведь ровно ничего не случилось, а откуда тоска? Шестьдесят лет прошли, как один день — мои или его? Внук Фридриха Георгиевича, Коля, появился в полвосьмого. Остановился посреди бара, обернулся на все четыре стороны, потом встал на цыпочки и устремил свой взгляд на потолок. Я заказал коньяк, и он, отпив немного, задумчиво сказал по-русски: «Слепой здесь сошел бы с ума. Шум отовсюду. Даже с полу. Принесите целую бутылку, пожалуйста (официанту — по-шведски). Я угощаю вас и всех, кто хочет. Я последний раз говорил на русском примерно год назад. Нет, что вы, для меня — огромное удовольствие! Ваш вид мне очень приятен». Было смешно.

«Поздний ребенок, — прокомментировал Фридрих Георгиевич, — сын племянника Валентина. Русский для него — упражнение в необязательном безумии». — «А правда, что Синявский, когда пишет, то обязательно под шафе?» — коварно осведомился Коля. «Я сам, когда пишу, иногда под шафе, а как Синявский, не знаю, — осторожно отвечал я, — но как восхитительна необязательность — безумия, языка, чего угодно. И как уйти от обязанности быть тем, что ты уже есть!» — «Необязательность всего, даже счастья, — очень серьезно добавил Коля, — едем покататься в Лапландию с моей английской подругой!»

Коля ничего ни с чем не связывал в моем романе. Нити сюжета и без него обрывались после каждого эпизода. Ему было легко потому, что он просто ни к чему не имел отношения, или таким

хотел казаться. Я не мог ехать в Лапландию, не хотел больше коньяка, и кроме того, мне казалось, что Фридрих Георгиевич совсем устал. С другой стороны, не мог же я требовать от человека, родившегося в Швеции в середине пятидесятых, чтобы он жил в ситуации жизни и смерти или даже мог такую ситуацию вообразить. Нет, Коля ничему не может помочь. Хуже того — он не может даже и помешать. В нем нет того основного, что объединяло поколения Фридриха Георгиевича и Михаила Ивановича с моим, — отчаяния. Или, чтобы не преувеличивать — хотя бы знакомства с ним. Колино поколение просто не обнаружило его в своей жизни. Мифа — тоже.

Человек первой половины двадцатого века — заложник мифа. Мифом Ленина была Революция. Мифом Поэта — до того, как он освободился от «гипноза» Михаила Ивановича, — искусство, истинное и «одно без другого». Мифом самого Михаила Ивановича была невинность рыцаря и его верность клятве. Даже «абсолютная правда факта» Бурцева — тоже миф. Неважно, какой из этих мифов оказался кратковременным, а какой долгоживущим, какой унес с собой миллионы жизней, а какой не оставил после себя ничего, кроме недоуменной улыбки, — эпоха оказалась заполненной мифами. Выполнение мифа заменило судьбу для родившихся между 1875-м и 1920-м — два коротких поколения ублюдков ублюдочной мечты. В следующем, третьем, моем, отчаяние стало терять свою силу, а миф — свою безусловность. Мы все еще можем связать себя с ними, по наследству, прихоти судьбы или капризу интереса. Коле было совершенно незачем лезть в чужие мифы.

Другой мой стокгольмский информант, Альфред Эйрингэм, пригласил меня к чаю («немножко по-

раньше, если можно — в пять придут три моих внучки с восемью правнуками и правнучками»). Дворецкий накрыл стол в библиотеке. Рассказ, совсем короткий, — о тех, кого Эйрингэм помнит, — я записал по памяти тем же вечером в таверне «Огненный утес».

«Я хорошо помню маленького человека в очень длинном армейском плаще, с подстриженными ежиком волосами и усами щеточкой. Елбановский называл его Ефим, а Мишель — *mon cher baron*. Он был польский еврей, и я не мог взять в толк, откуда у него был титул. Ефим занимался соленой треской, и у него была идея спасти голодающую Россию этой самой треской. Он основал свой фонд «Тресковой Помощи России» и собирался возить рыбу из Бергена в Петроград. Мишель дал какие-то деньги. Я тоже. Были, конечно, и скептики. Поручик Петрункевич, который вел счета моей фирмы в Трондхейме, говорил, что ни одной рыбины до голодающих крестьян не дойдет («все сожрут проклятые комиссары»), но Мишель уверял, что никто, кроме действительно очень голодного человека, эту рыбу есть не будет, так что можно не беспокоиться. Помню, барон Ефим периодически ездил в Гамбург выигрывать деньги в рулетку (он никогда не проигрывал) и вкладывал их в свой фонд (чем это дело кончилось, не знаю — мне, как и Мишелю, надо было уезжать, ему — в Африку, мне — в Голландскую Гвиану). О нем еще ходили слухи, что он может видеть сквозь землю и что проспекторы и искатели кладов предлагали огромные деньги. Много позднее я встретил его в Стокгольме. С ним была очень худая и необыкновенно красивая женщина, баронесса фон Эстваль, бросившая своего мужа. Я к тому времени уже ликвидировал свою фирму в Норвегии, и Петрункевич стал управляющим у Эс-

твая в его имени в северном Готланде. Он мне клялся, что рано или поздно Эстваль Ефима убьет — либо на дуэли, либо из-за угла, либо отравит — и что тому надо немедленно уехать из Швеции, а лучше того — из Европы. Я, разумеется, тут же передал слова поручика Мишелю, но он только улыбнулся, ну, говорит, *mon cher comte*, баронесса настолько угрожающе прекрасна, что все другие угрозы меркнут и бледнеют».

Я был заранее уверен, что мой третий и последний источник, телефон которого я получил в Лондоне, окажется тем самым «членом одного экзотического ордена», которого упомянул Фридрих Георгиевич. Встретились в маленьком рабочем кафе на Сант Эрикс Гатан. Это был старик лет восьмидесяти пяти-девяноста (меньше ему не могло быть по хронологии событий). С первых же слов я понял, что все личное будет безжалостно исключено — только о деле. Да, он довольно регулярно встречался с Михаилом Ивановичем в течение примерно десяти лет. Неоднократно беседовал. О чем? О вещах общих и вещах особых. Нет, особых вещей касаться не могу, ибо вас не знаю (эвфемизм, не нуждающийся в раскрытии!). Из общего он больше всего говорил о «стороннем человеке». Тот не станет ни членом «равноголового стада», ни романтическим героем-одиночкой, ни вождем осатанелой в гневе и энтузиазме толпы, ни большелобым лидером-теоретиком, управляющим на расстоянии ее движением (старый Густав — так звали моего собеседника — говорил на старомодном «скандинавском» английском, часто вставляя французские слова и выражения). Жизнь «стороннего» — *быть*, а не властвовать над другим или думать за него. Учительство — опасно. Знающий учит только *равных*, тех, кто понесет переданное знание наравне с

передавшим. Учитель не ответственен за ученика, ибо знание, как и ответственность, не может делиться между знающими: каждый сам несет всю полноту знания и ответственности, не больше и не меньше. Рыцарское послушание и есть добровольное принятие на себя знания и ответственности равных. Такие люди — всегда элита, отказывающаяся повелевать и быть повелеваемой. Но они — *не обозначены для других*. Их знаки и символы — только для внутреннего употребления. Символ — эзотеричен, даже если его значение известно всем. Наше время смешало священные символы со знаками политических организаций и спортивных клубов, слова правды с лозунгами блуда и гниения. Оттого рыцарь не должен предъявлять другому знаки своего рыцарства, ибо для того они всегда будут вульгарными параферналиями власти и подчинения. Для рыцаря же они — знаки его власти над собой и его подчинения обетам. Рыцарь — не монах, хотя покорен дисциплине почти монашеской. Но и не мирянин, ибо не плачет, несет свой крест один, не разделяя общественной скорби, торжества или возмущения.

За соседним столиком сидели советские студенты с красной надписью на майках: «Перестройка — это переброска на Запад». За другим допивал кофе солидный пожилой господин с огромным значком: «Бог — здесь. Захоти, и он будет с тобой!» Когда мы выходили, то столкнулись с молодой девушкой огромных размеров, на животе у которой было написано: «Во имя жизни всего человечества — смерть губителям экосферы!»

[Запоздалый комментарий: А сам он спросил ли хоть раз старого Валленберга, напрямик о том — о немцах, о русских, о евреях (порядок перечисления строго хронологический)? Не спросил, ибо этим

вынудил бы того к ответу о *личном* — о семье, детях, о нем самом, наконец. Но кто, когда, где спрашивал его, Михаила Ивановича о нем самом? А ведь он бы ответил, ох, как бы еще ответил! Так ведь не спросили же. Может, собой были слишком заняты, а может, из деликатности. Или даже, как Елбановский — от ощущения недолжности вопроса, ибо спросить означало бы: *что ты сделал, и что ты сделал, чтобы искупить сделанное?* (Гамильтон в Стокгольме ведь тоже *наводил* на ответ, а не спрашивал.) Нет, очевидно, что люди начала века были к этому вовсе неспособны, а немногие из следующего поколения просто забыли, как спрашивать. Заняты были очень. Предательство с трудом поддавалось искуплению. Раулю оставалось еще четверть века ждать морга на Лубянке. А Михаилу Ивановичу... не знаю.]

Глава шестнадцатая

Чужая жизнь

Когда в том, о чем ты пишешь, тебя нет, то наступает полная неясность.

Томас Карлейль

Что там с ним случилось в конце двадцатых — неясно. Если выясняется, то в последствиях. Их было два. Первое — он оказался великолепным ликвидатором. Ликвидатором такого класса, что люди забыли, что за десять лет до того, будучи министром финансов (а потом — иностранных дел), он принял самое деятельное участие в ликвидации гигантского акционерного общества (с неограниченной ответственностью!), именуемого «Российская Империя ан-лимитед». Успешной ли была эта ликвидация зависит от точки зрения (с точки зрения конкурентов — более или менее, с точки зрения кредиторов — ни в малейшей степени). Сейчас, ликвидируя венский «Анштальт Банк», он заплатил кредиторам девяносто шесть процентов — такого еще не бывало! Но будет — скоро он ликвидирует «Итальянский Банк» в Лондоне и этим подтвердит чемпионский титул (97%). Одна забавная деталь: как утверждает тот же Елбановский, Михаил Иванович брал с кредиторов за часы своей работы, «символически» этим исключая игру и удачу.

Второе — женился. Тоже не без некоторого рекордсменства. Без ума влюбившись в дочку норвежского пастора, он, видимо, не совсем еще отказался от анакреонтических утех (по версии Елбановского), либо прошло еще слишком мало времени, чтобы слухи о прошлом не воспринимались как настоящее (рассказ Ивана). Явившись в очередной раз в назначенное время к ней в отель, он нашел вместо невесты записку: разрыв помолвки («Бог знает, какой мукой для меня было преодолеть неодолимое влечение к тебе, но еще сильнее была мука знать о твоих похождениях. Сейчас, когда ты читаешь эти строки, я уже на пароходе, мы отчаливаем. Ты услышишь гудок, и это будет последним прощанием...»). Он услышал гудок, потом еще два.

До причалов было с километр. Когда он добежал, пароход выходил с рейда. Он бросился в лоцманскую, нанял быстроходный катер с командой, через полчаса нагнал лайнер, пошел наперерез и подал знак бедствия. Спустили трап, и через минуту он стоял на палубе, обнимая плачущую девушку. Он дал слово, клятву, зарок — никогда (Иван говорит, что отец заплатил пароходной компании огромную сумму за простой и еще штраф за подачу ложных сигналов). Через две недели они поженились. Иван утверждает, что он сдержал слово.

Глава семнадцатая

Квинт и я в июле 1989-го

Понять чью-то историю может только тот, кто отказался от своей собственной. Это — дорогая цена.

А. П.

Квинт — это имя человека, которому было пятнадцать лет, когда я приехал в 1974 г. в Англию. Сейчас зайти к нему было совершенно необходимо, для реализации свободы, так сказать. Ну, захочу — зайду к Квинту, вот и все, тем более, что никакой другой необходимости в этом не было. Квинт был могучим — при своем хрупчайшем телосложении — противовесом *всему*. Он для меня единственный человек, общаясь с которым, ты общаешься только с ним, ни с кем и ни с чем больше. Он не несет в себе никакого контекста, никакой ситуации, кроме контекста и ситуации общения с тобой, да и то только пока длится само общение. Свободный, он противостоял не-свободе всех твоих других отношений, хотя сам он, разумеется, тянул за собой *свою* историю — для тебя, впрочем, нисколько не обязательную. Она служила ему, в наших нечастых встречах, неисчерпаемым источником ссылок, отступлений и вставных рассказов. Он был высок и необычайно худ. «Для меня единственным способом повергнуть противника, — любил повторять он, — будет, если я прыгну на него сверху». Не помню, чтоб у него были противники.

«Ты — обыкновенный, совершенно такой же, как все, — сказал мне Квинт в нашу предыдущую встречу. — Как и все, ты садишься писать только когда всех прочих дел так много и они так безнадежно запутаны, что просто не остается ничего другого, как послать все к черту и... писать. У тебя не может возникнуть спонтанного импульса к творчеству. Ты делаешь что-либо только чтобы не сделать чего-либо другого. Это — признак банальности».

Я (продолжая пить, что тоже — признак банальности): «Ну да, конечно, но роман — не история. Вернее, попадая в роман, «случаясь» в нем, история теряет *определенность* своего предмета. Здесь

не спросишь — о чем это все? Да — обо мне! Так ведь ты же таким сроду не был — возразишь ты. Ну, а это — мое дело. Нет, мы не смешиваемся, он и я. Просто здесь случайно обретается та эфемерная единственная свобода обращения с *собой*, которая позволит тебе быть *им* — с этим он, герой, уже ничего не может поделать».

Но почему же все-таки нам так необходимо встречаться — за водкой, коньяком или чем угодно — и опять говорить о нас самих? Опять — банальный вопрос, приглашающий к банальному же ответу! Да, чтобы «душу отвести», а именно *отвести* ее от истории, истории вообще, твоей собственной, и той, в которую ты попал и из которой — по здравому, а не пьяному размышлению — тебе едва ли выпутаться. Ведь любовь, как и страдание, — вне истории. Но как трудно без другого достичь той чеканной бесповоротности ответа на вопрос о себе, без которой любое продолжение разговора останется репликой в сторону.

В конце концов, что знаю я, например, о племяннике Михаила Ивановича, Андрее Муравьеве-Апостоле, приятнейшем, если судить по голосу, семидесятишестилетнем джентльмене, воспитывавшемся в Англии и живущем в Женеве? Один телефонный разговор. Будет второй, чтобы договориться о встрече. А там что? Откровение, раскрытие или — ничего, как почти во всех предыдущих попытках!

Мы стояли перед Лондонской Библиотекой на Сент Джеймс Сквере. Жара чуть спала, и Квинт сказал, что пойдём к нему, выпьем чего-нибудь. Он выпьет, пожалуй, бренди, а я лучше ничего — тебе же надо завтра как-то добраться до Женевы. «Кстати, почему ты куришь такие отвратительные сигареты?» — «Чтобы меньше курить». — «Знаешь, твой

Михаил Иванович, наверняка куривший Давыдова, оказался неподготовленным к жизни — не имел счастья прочесть твой роман о нем».

«Ну, разумеется, — продолжал Квинт, когда мы сидели у него на кухне, — теперь, когда все они умерли, а главный герой не оставил ни строчки о себе, ты можешь сделать все, что хочешь. То есть писать плохой роман вместо плохо документированной биографии». — «Я все время стараюсь делать то, что хочу», — отвечал я, зная, что разговор еще не об этом. Но что Квинту едва ли избежать нависшей в воздухе провокации. На всякий случай, я решил не пить, чтобы лучше запомнить, что он скажет. Как жарок этот лондонский июль! Как обычно, я не выдержал. Квинт налил мне фужер бренди и, поставив перед собой бутылочку минеральной воды — он и вообще-то пил мало, а сегодня был с машиной, — прижался мокрым лбом к ледяной поверхности бутылки и сказал: «Скорее бы нам с тобой выйти живыми из этого мертвого месяца». — «Я тебе плохая компания — ты меня ровно на двадцать девять лет моложе».

Рассказ Квинта

Это было после завтрака. На следующий день отец отправлял меня в Мальборо (мне исполнилось двенадцать). Мы сидели в столовой. Отец с дворецким проверяли по списку вещи, которые я должен был взять с собой. Мать была еще в постели (вскоре она умерла). Когда дворецкий вышел, брат сказал: «Ты отправляешь Квинта в Мальборо, прекрасно зная, что это — идеальная комбинация мужского борделя с японским концлагерем. Ты сознательно и добровольно посылаешь его мучаться». — «Ты просто жалок с твоей патетичностью, — пока еще спокойно возразил отец. — Пять поколений Рен-

филдов выходили из Мальборо крепкими, готовыми к жизни людьми, исключая разве что тебя». — «Да, безусловно, — ответил Харолд, садясь на край стола напротив отца, — пять поколений алкоголиков, садистов и мужеложцев, *включая* тебя».

Отец раскуривал свою первую утреннюю гавану, руки его дрожали, и он сломал сигару. Он аккуратно собрал со стола куски сигары в большую каменную пепельницу и швырнул ее в лицо Харолду. Я поймал пепельницу налету — ты знаешь эту мою способность ловить летящие предметы, — сел на стол перед отцом и сказал: «Папа, не сердись, пожалуйста, на Харолда. Он напрасно думает, что я буду мучаться в Мальборо. Но если ты думаешь, что я выйду из Мальборо похожим на тебя или даже на Харолда, ты еще более ошибаешься. Мне, собственно, все равно, где жить или учиться. Но вы оба, пожалуйста, не рассчитывайте на мое страдание».

Мне казалось, что на этом инцидент завершился. Я ошибался. Брат соскочил со стола, сорвал со стены охотничий винчестер кузена Друри и от живота выстрелил в отца дуплетом. Выстрелом сожгло край стола, опалило отцу левую руку и безнадежно испортило божественный кашгарский ковер, привезенный из Урумчи шурином отца, полковником Манглером, в 1924-м году. Все это, как ты понимаешь, создавало большие проблемы для званого обеда вечером по случаю моей отправки в школу. Надо было убрать из столовой обгорелый стол, перетащить туда стол из библиотеки и заменить два ковра. не говоря уже о распухшей до огромных размеров руке отца, после перевязки не дававшей ему никакой возможности надеть смокинг. Все совершенно с ног сбились. Запах пороха и гари не хотел выветриваться из столовой («Один сраный выстрел этого ублюдка, — жаловался отец, — а сколько сует

ты, шума и грязи»). Перед обедом Харолд пошел к матери и сказал, что он отца все равно застрелит и чтоб она предупредила лорда Сенгрева, нашего дворянского дядю и окружного судью, чтоб он лучше его заранее арестовал. Мать возразила, что если ты приглашаешь человека на обед (Сенгрев был тоже приглашен), то уж совсем неприлично ему этот обед портить напоминанием о его служебных обязанностях. Когда я спускался к обеду, я захотел, чтобы все эти люди умерли и чтобы с ними умерли ненависть и насилие. Но этого, разумеется, не случилось.

Последовавший за этим рассказом разговор проясняет некоторые моменты касательно насилия и любви. Я излагаю его здесь очень кратко и выборочно.

Я. Сколько ты сейчас вешишь?

Он. Столько же, сколько весил, когда поступил в Мальборо, — 47 килограммов. Я не хотел весить больше. Моя первая плотская встреча (carnal congression) с женщиной была полностью отравлена ощущением моего давления, насилия в акте страсти. И хотя она меня уверяла, что нет, что я очень легкий — что было относительной правдой, — я со страхом чувствовал в себе увеличивающийся *вес насилия*. Тогда я безумно захотел — *остаться легким*.

Я. А чего ты боишься сейчас?

Он. Твоей глупости. Ты верен своему страданию, что, как сказал бы твой и мой учитель Ллойд, глупо. Ты ведь не создал себе этого страдания сам, намеренно и добровольно, а *вынужден* его переносить — ведь надо как-то жить, да? Это — очень неправильное страдание.

Я. Я отравлен страхом и предательством. Может, и мне попробовать сбросить килограммов десять, а?

Он. Я не вижу в твоих глазах страха самоубийства. Я вижу в них другое: ты боишься, что кто-то хочет тебя убить, спасая себя.

Я. Но этот кто-то не знает о своем желании, не так ли?

Он. Не думаю, что это важно.

Я. А ты не видишь в моих глазах, удастся ли мне спастись?

Он. Ну, управимся как-нибудь. А килограммов десять ты сбрось — легче будет бежать.

Я. Куда же я вернусь, если убегу?

Он. Куда ты вернешься — выяснится, пока будешь бежать. Сейчас это мне не кажется проблемой. В крайнем случае, ты никуда не вернешься.

Я. Я устану быть все время в пути. И начну плакать по оставленной на никого половине царства.

Он. Да ты уже и так начал, впервые, думаю, лет за тридцать, да? А половина царства найдет новые руки.

Я. Пожалуй, за все пятьдесят. Скорее бы добраться до первого ночлега.

Он. Не спеши занять освободившуюся вакансию Вечного Жида. Говорю тебе, это как Летучий Голландец. Кстати, одна из моих прабабок была баронесса Ван Меер.

Было около четырех пополудни. Страх продолжался. Мы шли по краю огромного, совершенно выгоревшего поля. Пот ручьями стекал с головы. Я так и остался в костюме, в котором пришел к Квинту, но он утешил меня, сказав, что бежать придется долго и что скоро наступит холодная английская осень. Перелезая через изгородь для скота, я снова испугался.

Солнце зашло без десяти восемь, когда я услышал сухой треск выстрела. «Как сучок обломился», — сказал Квинт, подбегая. Я присел на корточ-

ки. Вторая пуля прожужжала прямо между нашими головами. «Как оса, — заметил Квинт — в легкости — спасение».

Шесть часов тяжелой, в перевалку, Си Эс Люисовской ходьбы принесли некоторое успокоение, и когда мы около десяти вечера уселись, наконец, в салоне «Льва и Огня», усталость уже почти истощила страх, который до этого уже почти победил отчаяние. Квинт успел принять душ и налить нам бренди. Молодой хозяин принес луковый суп и жареную форель. «Итак, новый мистер Рансом, — начал мой невесомый спутник, — ходи, ступая на носки, а падай лицом в грязь». — «Сегодня я установил, что страх сильнее отчаяния». — «Ты не об этом хотел говорить, — возразил он, доев суп, — а про пули. Так что скажи уж лучше сразу».

Тоска навалилась спереди, на грудь и живот. «Обе пули были сзади, — стонал я, — не хочу есть рыбу. Налей еще бренди. Больше, пожалуйста. Я насквозь отравлен. Не будем здесь ночевать. Лучше снова ходить до конца, пока усталость не задавит тоску!» — «Значит, не хочешь говорить про пули в спину — предпочитаешь встречные? Скажи сразу. Потом — не скажешь». — «Спереди я и сам себя могу застрелить, но ты знаешь, что я этого никогда не сделаю. Как и он. По-моему, человеку моего поколения гораздо легче довести себя до того, что его кто-нибудь убьет, чем самому этим заниматься».

«Да, плохо, — согласился Квинт, подымаясь, — я, пожалуй, отвезу тебя завтра в аэропорт. Тебе лучше поскорей улететь в Женеву, к мсье Андрэ. А там, глядишь, и июль пройдет». — «А август?» — «В августе делай, что хочешь. Но только то, что хочешь. Другого случая не будет — третья пуля тебя все равно найдет, сзади или спереди».

Он поднял меня в пять утра. Обратный путь до

его дома занял четыре часа (мы пошли другой дорогой). Он поджарил ломтики бекона с помидорами, выбил яйца, выжал в стаканы сок из грейпфрутов и, уже ставя на стол поднос с едой, сказал: «Между прочим, стрелявший сзади не промахнулся. У самого меня пожизненная прививка от ядовитых пуль, посланных через другого. У тебя — нет. И я не пишу романа, который меня никто не просит писать. Но предупреждаю — я не смогу поймать на лету посланную в тебя пулю, если меня тогда с тобой не будет».

Он пошел в гараж мыть машину, а я допивал кофе. Мы выехали около двенадцати, чтобы по дороге в аэропорт заехать ко мне за паспортом, рубашками и носками.

Глава восемнадцатая

Квинт в августе

Подведение итогов — бесполезное занятие.
Знающий — всегда продолжает.

Г. И. Гурджиев

Квинт встречал меня в Хитроу-1. «Как в Женеве и как твои пули?» — «В Женеве восхитительно прохладно, а пули — со мной». — «Как твой граф Муравьев-Апостол?» — «Он не граф, а гораздо знатнее. По прямой линии от гетмана Данилы Апостола, а по боковой — чуть ли не от каких-то французских королей. Его полное имя — Андрей Владимирович Муравьев-Апостол-Коробьин (он мне подарил свою генеалогическую таблицу). Он — сухой и веселый. В свои семьдесят шесть играет в поло и теннис. Ежедневно выкуривает полторы пачки сигарет и «выжирает» (выражение моей московской юности) полбутылки виски и бутылку шампанского. Он абсолютно любезен, сердечно приветлив и слегка холоден. Никакая пуля, по-моему, его не берет. Вообще, мне кажется, он не из тех, кто подводит черту. Знает, что делает. Он мне сказал, что *настоящая* проблема — это не то, как не пить, а то, как пить и не спиваться. Хотя в этом большую роль играет природа, а не умение, я думаю».

«Я не знаю, что такое гетман, — грустно сказал Квинт, включая мотор. — По поводу подведения черты, очень сомневаюсь, так же как и насчет пули. Он-то, даже судя по твоей импрессионистской характеристике, как раз и способен подвести черту под чем угодно, даже не думая об этом. Это ты не способен. А пуля каждого ждет своя, а кого и добрый заряд дробы, хотя, конечно, если постараться, то можно угодить и под чужую пулю тоже. Как, например, мой кузен Рейф, которого по ошибке застрелил подполковник Эллис, приняв его в предраcсветных сумерках за любовника своей жены, банкира Рэя Снейгера. Вчера на один день прилетел Ллойд. Говорит, что история с Михаилом Ивановичем — это типичный *red herring*. Что ты ее начал придумывать, когда почувствовал, что сам попал в

серьезную историю, может быть, первую за двадцать лет. Что ты с самого начала, еще почти ничего о нем не зная, стал выдумывать разные вещи и просто врать напропалую о нем, а заодно и о себе. Затем, по мере обдумывания тобой полученной информации, твое вранье о нем оказывалось правдой, а по мере развития твоей жизни правдой оказалось и твое вранье о себе. Ллойд боится, что ты о нем что-нибудь не то придумаешь, что потом тоже окажется правдой, и просит тебя быть как можно осторожнее. Он зовет нас всех — тебя, Лезли и меня в Нантакет, в свой огромный деревянный пустой дом, в котором ты не был уже десять лет».

По дороге ко мне мы заехали в квартиру его дяди Ларри, чтобы немного выпить. «Я не могу страдать и не пытаться объяснить это тем, кого люблю, — опять же очень плохо начал я, — оттого мне пришлось начать этот роман. Роман — о причудах современного неталантливого, но понимающего человека. Пусть в меня стреляют сзади, но пусть при этом понимают, что делают».

Совсем уж ни к чему появившийся Винстон, дядин дворецкий и он же единственный слуга в столь редко посещаемой хозяином квартире, внес поднос с напитками, водой и льдом. «Стреляющий не может понимать, — отвечал Квинт. — Извини, что водки нет, и тебе опять придется пить бренди. Стрелявший тогда поймет, когда забудет, что стрелял. Значит — опять не поймет. Ты так завяз в перипетиях предвоенного Михаила Ивановича, так переживал его «революционную» катастрофу, что решил, может быть, несколько преждевременно (как впрочем, и он сам, въезжая в предрассветных сумерках в Норвегию), что хуже ничего быть не может, что все, что случится потом, будет только лучше. Ты ошибся (как и он, по всей вероятности). Когда ты

неверными шагами шел через выжженное солнцем поле, я видел твоего героя (а тогда, летом 1946-го, ровесника), ровным четким шагом проходящего по аллеям в имении лорда Бранда в Норфолке или лорда Норта в Букингамшире. Красивый стареющий балетоман, потерявший все и снова наживший почти столько же, — он тогда уже получил свои две пули и ждал, как и ты сейчас, третьей.

Глава девятнадцатая

Время позднее

(Последствия одного интервью)

Он говорил, что его ненадолго хватит и что времени осталось лишь на то, чтобы повторить нечто уже сделанное для голого свидетельствования о себе прошлом. Но перед кем? Об этом он не хотел думать и, глядя на проплывающие вверх, от устья Темзы суда, старался сохранить в памяти форму и очертания каждого корабля, чтобы потом узнать его, когда он будет возвращаться назад в море.

Ч. Диккенс

Автор некролога о Михаиле Ивановиче в «Таймсе» и статьи о нем на следующий день там же, лорд Роберт Генри, первый барон Бранд, родился в 1878 г., умер, не оставив мужского потомства, в 1973 г. (его единственный сын Роберт был убит в конце второй войны). Он был одним из директоров банка «Братья Лазард», директором «Ллойдз» и еще дюжины банков и страховых обществ. После него остались дочери, леди Вирджиния и леди Дайна. Узнав по справочнику телефон, я позвонил Вирджинии. Ответил ее муж, сэр Эдвард Форд, баронет.

Сэр Эдвард. Моя жена больна и не может подойти к телефону. Она не в состоянии говорить. По какому делу вы ей звоните?

Я. Мне очень хотелось узнать от нее хоть что-нибудь о Михаиле Ивановиче, который был коллегой и близким другом ее отца.

Сэр Эдвард. Кто вы?

Я. Меня зовут Пятигорский.

Сэр Эдвард. Вы сын Григория?

Я. Нет. Я в лучшем случае его троюродный внучатый племянник (на этот вопрос мне приходится отвечать в среднем раз в месяц).

Сэр Эдвард. Вы историк?

Я. Ни в малейшей степени. Я философ и востоковед. Михаил Иванович — боковая, но крайне увлекшая меня линия. Как представить его себе здесь, в Англии? Как он ходил, говорил, думал? Совсем немногие знавшие его здесь люди помнят, что он говорил им, но не помнят или никогда не знали о его жизни, доме, семье. Все ниточки связей, кажется, давно оборвались. Его сын Иван был в Итоне и Кэмбридже. Но и его здесь никто не помнит.

Сэр Эдвард. Я сам старый итонец. Но, простите, разумеется, я прекрасно помню Майкла. Сей-

час я пытаюсь восстановить в памяти его лицо. Когда, вы говорите, он умер, в пятьдесят шестом? Хорошо. Сейчас я быстро просмотрю книги посетителей моего тестя в его имении Эйдон-Холл близ Дэвентри за двадцать лет, предшествующих смерти Майкла. Это не займет много времени. Вы меня премного обяжете, если позвоните мне через пятнадцать минут.

Недоумевая, ибо в моем случае это заняло бы часа два, я все же позвонил ровно через пятнадцать минут.

Сэр Эдвард. Благодарю вас. Согласно записям, Майкл и его жена посетили Эйдон-Холл 5-го марта 1949-го г., а потом 16–17-го марта 1951-го. В первый раз они были вместе с весьма тогда известным доктором Плешем и одним знаменитым виолончелистом. Помню, что мой будущий тесть — тогда я только еще ухаживал за Вирджинией — говорил о Майкле с восхищением. Сейчас, разговаривая с вами, я вижу его лицо, светлые, совсем еще не седые волосы, очень легкую — хотя ему должно было быть сильно за шестьдесят — походку. От него исходило необычное обаяние. Он говорил очень тихо, но сколько бы ни было людей в гостиной — его все слушали. Это, пожалуй, все, что я могу вспомнить. Кто бы еще мог его знать? Да, конечно, Джослин Хамбро, но он пропал где-то в Южной Америке. Дядя Джон умер десять лет назад, а лорд Норман — все тридцать. Были, может быть, другие, которых я не знал или не могу вспомнить.

Я. Я бы продолжил. Поэт, одно время бывший его близким другом, умер пятьдесят восемь лет назад, последний русский Премьер — двадцать восемь, а «молодой» Коновалов (профессор в Оксфорде) — двадцать. Из менее старых, кто еще жив,

никто ничего не помнит ни о нем, ни даже об Иване. Мы отделены от него стеной смерти.

Сэр Эдвард. Я не знал, что Поэт был его другом. То, что вы называете стеной смерти, я бы назвал стеной забвения: человек исчезает из памяти знавших его людей задолго до того, как они умирают. Дайте мне несколько дней. Если я еще что-нибудь вспомню, то вам напишу. Но одно я помню очень четко — мое впечатление, что Майкл был совершенно особый человек.

Я. Станный (strange)?

Сэр Эдвард. Нет, именно — особый (exceptional). Я думаю, что в нем было редчайшее сочетание необычайной живости темперамента с удивительным спокойствием.

Теперь назад, в имение Брандов, Эйдон-Холл, через хотя и весьма старое, но все еще настоящее — Елбановского.

«Ранним утром в начале марта 1949-го, — начал свой последний рассказ Елбановский, — я зашел к Мишелю в Гровенор-Отель, чтобы сообщить, что накануне был убит его старый товарищ и компаньон по ликвидации банков, Артур Шалер. Жена Мишеля была еще в постели, и мы пили кофе в маленьком салоне. За стеной кто-то тихо, но очень ясно говорил по телефону по-русски. «Скорее, скорее, я больше не могу ждать, я обожаю тебя, моя ненаглядная», — неслись чужие слова. «Ты еще можешь слышать слова любви, произнесенные другим?» Елбановский не знал, к кому Михаил Иванович обратился с этой фразой, к нему или к себе самому. И дальше, «видно, век кончился для меня несколько раньше, чем для других». — «Но ведь Шалера убили, значит, век продолжается?» — «Нисколько. Они не знают, что убили мертвого и что сами мертвы»».

«Н-да, — задумчиво произнес Елбановский. — Артур, наивный галицийский еврей с венским образованием и английской женой, ввязался не в свое ебаное дело, которое он завершил, по-видимому, вчера рано утром в устье Темзы, с шеей, намотанной на винт прогулочного катера «Брейсноз»...» — «Неввязавшихся не было, — резко оборвал Михаил Иванович, — но все-таки остается понимание того, что ты делаешь, ввязываясь, и, главное, что ты от всего этого хочешь». — «Старая песня, — подумал Елбановский, — это я от него в девятьсот тринадцатом слышал». Но вслух сказал: «Давай-ка я около тебя побуду немного, так месяца два-три. Ты же знаешь, там, где я, вещи не происходят по плану других. Ну так, для верности, скажем». — «Нет. Мне все это совершенно безразлично, почти как в октябре девятьсот семнадцатого. А остальное, ну, Иван в возраст входит и, — он чуть кивнул в сторону спальни жены, — с этим я, наверное, вряд ли что могу сделать. Дела кое-какие надо закончить для них. Для себя, Игорь, для себя — *ничего*. Надо ехать. Нас Бранды ждут. После ланча будет виолончель. Бетховен и Шуберт».

Все оказалось совсем не так, как я предполагал во второй, да и в начале этой части. Роман заканчивается сам собой, так как безвозвратно потерял *объектив* в его как пастернаковском, так и объективно-материальном смысле. Ибо исчез сам объект, то есть его, Михаила Ивановича, прошлое, потерявшее свою уникальность и слившееся с моим, да и с чьим угодно другим. Да, в гостиной брандовского дома в Эйдон-Холле еще четверть века будет петь виолончель Григория Пятигорского под шуршание осенней листвы, но это все уже не важно, ибо, как любит повторять Квинт, когда объекты меняются местами друг с другом, то и

тебе, видящему и пишущему, приходится менять свое место. Видимо, в одну из таких попыток моего перемещения объектив и потерялся.

Укутывая в беличью доху свою все еще божественно красивую жену — ей не было и сорока, — он попросил шофера по дороге в Лондон остановиться на полчаса в Кембридже. Они уехали от Брандов засветло, чтобы успеть повидать сына в колледже. Последнее, однако, служило и предлогом, чтобы увезти ее до обеда и не дать ей напиться в чужом доме. Шофер открывает дверцу машины перед тускло освещенными воротами Кингс-колледжа. Михаил Иванович выходит первый и подает жене руку. «Нет, я устала. Подожду в машине». Легкое движение бровей в сторону шофера (держать ее в машине крепко до его возвращения, а то тут же сорвется в бар напротив, стакан неразведенного виски и — все). Все это давно превратилось из правила предосторожности в послушную привычку.

Теперь он ждет Ивана перед пылающим каминном салоном для посетителей. Спрашивать — только о самом необязательном. Никого ни к чему не обязывающем. Иван — мотылек. Только потянет сквозняком из приоткрытых дверей и снесет его в пламень камина. «Ну? — отец выжидательно улыбается. — Есть одна?» — «Сделано (done)!» (Почти как «сделана» — на жаргоне московских парков и танцплощадок тридцатых годов). Таков рапорт о первой ебле сына. Михаил Иванович садится на низкую кушетку, облегченно вытягивает ноги, закуривает длинную тонкую сигарету. Сейчас бы коньяку глоток. «Я тебя так люблю, я обожаю твои руки на моем лице...» — эхом отдаются русские слова услышанного утром разговора. В машине он не выпускает из рук холодные пальцы жены. Еще семь

лет, и она будет метаться из бара в бар, в Монако или Ницце, в норковой шубе, наброшенной на голое тело, а Иван с молодой женой носиться в распоследней марки «Бьюике» по Рио-де-Жанейро, пьяный и торжествующий. Через год после смерти отца.

Хватит. Я бросаю написанную страницу Елбановскому: хотите — в корзину! Он, сентенциозно: «Многообразие всего существующего — вы же не можете не чувствовать то единственное, без чего все остальное не имеет смысла. Иногда, все реже и реже, утром после кофе или в ранних вечерних сумерках, он садится к фортепиано и тихо — у него очень легкое туше — играет. Обычно Бетховена, из шестой, седьмой или двадцать восьмой, или первую балладу Шопена. Так я помню его в салоне отеля в Монпелье, куда он меня вызвал, чтобы отдать кое-какие из своих старых бумаг. Сказал, что хочет скорей провести ликвидацию последнего обанкротившегося синдиката — себя самого».

«Это — что. оксюморон? Запоздалое сведение концов с концами, когда уж лучше к этим концам и не прикасаться, а то еще совсем не то вытянешь?» — «Нет, он просто совсем ничего не хотел». — «Тогда что же получается, Игорь Феоктистович? Тогда, выходит, что и Вадиму Сергеевичу и Никитичу было не хуже?» — «А то, пожалуй, и лучше, милый друг. Ведь мы с вами не раз об этом говорили — тот самый двойной счет, вечный баланс страха—надежды, чести—бесчестья, радости—страдания». — «Так чего ж тогда и ликвидировать было?» — «Мишель был рыцарь вечной надежды, ожидавший конечного поражения и заранее это поражение принявший. Не думал только, что оно будет таким полным».

«А знал ли он (я не спросил Елбановского, а знали ли *вы*) *другого* Михаила Ивановича?» Елбановский не ответил. Может быть, не расслышал и не захотел переспрашивать.

Глава двадцатая

Еще один Михаил Иванович

(Последствия одного письма)

Однако в загадке есть своя положительная необходимость.

Из письма Дж. К.-Брадшоу ко мне

Дорогой Александр,

Я надеюсь, что разделяемые нами обоими заблуждения извиняют это несколько фамильярное обращение более, нежели стилистические нормы разделяющего нас языка это обращение допускают*.

Не писал вам так долго, что даже не решаюсь просить прощения. Ибо последние одиннадцать месяцев всё свободное от операций мозга и хирургических консультаций время я пытался выпутаться, хоть как-то, из едва ли сейчас или когда-либо потом разрешимой загадки: были ли русский военный хирург полковник Иван Лаврентьевич Чоглуков и немецкий историк ранних гностических сект, Иоган Лоренц фон Прахт *одним и тем же лицом?*** А если были, то как объяснить тот факт, что у немецкого фон Прахта был младший брат Виктор, впоследствии сыгравший известную роль в захвате нацистами власти в Гамбурге, в то время как русский Чоглуков был безусловно единственным сыном? Но если они не были одним лицом, то оказывается совсем уже невозможным объяснить простым совпадением то обстоятельство, что жену Чоглукова звали Елизавета, а жену фон Прахта — Элизабет и что обе они, как мне недавно удалось установить, родились 17-го июня 1896-го г.

* Это — аллюзия на известную шутку Бернарда Шоу, что «американцы и англичане — один народ, разделенный общим языком». Родной язык автора письма — немецкий, а автора романа — русский. Автор письма пишет на своем «немецком английском», а я его перевожу на «английский русский», стремясь сохранить стилистические особенности оригинала.

** По-древнетюркски чоглук (coglug) — «блестящий», «сверкающий», а немецкое слово Pracht означает «блеск», «сияние». Отец Чоглукова был родом с Кубани, где тюркские имена далеко не редкость.

Но, к сожалению, тангенциально удаляясь от разгадки своей загадки, я не более чем ассимптотически приближаюсь к разгадке вашей. Но все-таки употребление мною слова «загадка» (riddle) вместо обычного в таких случаях слова «задача» (problem) — не поэтическая вольность и не эпистолярное излишество. Загадка обязательно предполагает личную *намеренность* (Intenzionalität), почти всегда отрицательную: загадывающий хочет, чтобы тот, кому он загадку загадал, ее не отгадал. В предельном случае он хочет гибели отгадывающего, ибо если тот загадку отгадает, то самому задающему грозит погибель. Однако в самой загадке есть своя положительная необходимость.

Следует также иметь в виду, что загадка может перенести того, кому она задана, далеко вперед в развитии сюжета его жизни или даже — в сторону от ее прежнего обычного течения. Отгадавший получает возможность включиться, так сказать, в другой, не-свой сюжет или, как выразился бы наш обшй друг Ллойд, «пойти к смерти другим путем».

Но довольно абстракций! В конце концов, если два человека оказываются одним, то это столь же невероятно или вероятно, как если бы один оказался двумя. Перехожу к нашим заблуждениям. Старый мошенник Эбер совершенно прав, утверждая, что для каких-то очень немногих людей начало века оказалось столь *осознанно* мучительным, что они сознательно стремились к перемене своей личности, к превращению в *другого*. И не для спасения своей жизни, а именно, чтобы найти другой путь к смерти. Обычно такие люди оказываются одаренными с избытком умом, жизненной энергией, и, сколь это ни странно, они почти всегда богаты или по крайней мере состоятельны. Не все такого рода попытки были удачными. Внимательно прочитав

ваши главы о пребывании Михаила Ивановича в Москве и сопоставив их с тем, что я *точно* знаю о его жизни в Лондоне, Каннах, Париже и Петербурге, я предлагаю следующую гипотезу: московский Михаил Иванович и петербургский Михаил Иванович, будучи современниками и, возможно, ровесниками, являются двумя разными людьми. В то время как петербургский Михаил Иванович (тоже нередко наезжавший в Москву), он же киевский, лондонский, венский, каннский, парижский — миллионер, музыкант, балетоман, масон, министр, нищий, опять миллионер и т. д. — безусловно был *одним* человеком.

«Что за чушь! — вскрикиваете вы, вскакивая с кресла, чтобы тут же изорвать в клочья мое письмо, плод последних (и тщетных) усилий несостоявшегося нейрохирургического гения, — тогда какого черта мои московские знакомые, лично знавшие московского Михаила Ивановича как петербургского, каннского, киевского и т. д., даже и усомниться не подумали бы в том, что они — одно лицо?» На это я отвечаю второй гипотезой, которую и предоставляю на ваше рассмотрение: когда ваши, тогда еще *очень молодые*, московские знакомые *впервые* встретились с *московским* Михаилом Ивановичем, они уже довольно были наслышаны о его петербургском тезке, и им просто не могло прийти в голову, что их новый московский мэтр — тем более что он обычно приезжал к ним из Петербурга — мог оказаться кем-либо другим. «Вздор! — кричите вы, — Так ведь можно же было сто раз спросить его об этом! В конце концов, даже если полное отсутствие сомнений на счет их тождественности уже само по себе делало вопрос маловероятным, должна же была существовать бездна ситуаций, разговоров, встреч, ужинов, когда правда о двух Михаилах

Ивановичах неизбежно стала бы очевидной. Или, по крайней мере, сделался бы необходимым вопрос о ней». Однако и это воображаемое мною ваше возражение было бы весьма нетрудно парировать. Во-первых, когда обыкновенный человек уже знает правду о чем-то — в особенности, когда он ее «всегда знал» или когда «все об этом знают», — то сколь бы очевидной ни была другая правда, он в девяносто девяти случаях из ста останется к ней нечувствителен. Во-вторых, даже если он, в одном случае из ста, почувствует какое-то сомнение, он никогда не задаст вопроса об этом московскому Михаилу Ивановичу, ибо последний, безусловно, принадлежал к той чрезвычайно редкой породе людей, которым не задают вопроса о них самих*.

Но заметьте, я называю московского Михаила Ивановича «московским» чисто условно, то есть как того, кого знали *ваши* московские знакомые (или кто угодно еще, с их слов) в Москве, что несколько не исключает, что он мог быть родом откуда угодно и жить тоже где угодно. Таким образом, петербургский Михаил Иванович, бывший, как мы знаем, киевлянином, мог неоднократно пересекаться с московским в тех же местах и временах. Оба, например, могли обедать в «Праге» на Арбате или покупать ветчину у Орлова на Морской, не ведая, что одного из них какие-то москвичи упорно принимают за другого (то есть за петербургского).

* Да, спору нет, плохо наводятся мостики от его петербургского бытия к московскому. Слова Елбановского о его учительстве в Москве не более чем формально подтверждают рассказанное Вадимом и другими *учениками*. Но что есть учитель, если уж мы дошли до этого? Учитель — не свидетельствует о себе. Он может учить учеников отстраненности и незаинтересованности, сам не будучи ни отстраненным, ни незаинтересованным.

Но — не наоборот. Вы, мой дорогой друг, возможно первый, кто принял петербургского за московского, соединив обоих в одном герое романа. Разумеется, такого рода совпадения вполне возможны, но и они не могут длиться до бесконечности. Наступает момент, когда личность становится *однозначной* — момент смерти. Тогда все многообразие личности будет сведено к тому, далее уже неразложимому «минимуму себя», которым она и отличается от любой другой личности во вселенной, к тому *одному знаку*, по которому ее признает ангел смерти и по которому ее узнают *там* те, кто знал ее *здесь*. Так вот, гипотеза «единства» (или «единозначия») московского Михаила Ивановича с петербургским опровергается фактом смерти первого из них 18-го декабря 1940-го г., в то время как второму еще оставалось долгие шестнадцать лет скитаться по давно уже нелюбимой им жизни.

Эбер сказал, что *видел*, как московский Михаил Иванович умирал с пулей в затылке, в северо-португальском портовом городке Каминья, что для меня как нейрохирурга звучит несколько сомнительно. Ибо как он мог *знать*, что у того пуля была именно в затылке, если сам ему ее туда не всадил или не присутствовал при этом, что почти одно и то же. Вместе с тем, если отвлечься от такого рода технических неточностей или от вполне допустимых умалчиваний с его стороны, то я не думаю, чтобы Эбер врал. Что нам с вами теперь остается, так это наивно спросить: зачем он, Эбер, *видел* все это? Заметьте, именно «зачем», а не «почему» — ибо в то время всякое могло случиться. Итак, зачем пфальцскому аристократу, освобожденному из-за хромоты от военной службы, понадобилось оказаться в Каминье именно в тот день, час и в ту минуту, когда должна была прийти смерть к московскому

бонвивану и спиритуалисту? Мог ли Эбер не знать, чью голову держал в своих полных крови ладонях? Да и тот, умиравший, мог ли он не знать, кому говорил последние слова? Значит — это была заранее договоренная встреча, не так ли? При этом вовсе не обязательно, чтобы оба или хотя бы один из них заранее знал о ее неприглядном антураже, так сказать, не говоря уже о весьма печальном исходе.

Обо всем этом, мой дорогой друг, вы и спросите Эбера. Спрашивайте просто, напрямик. Он никого не принимает, так что вам придется «искать вход» к нему через его бывших британских друзей. Уверен, что это вам легко и скоро удастся.

Ваш всегда

Джон Келлер-Брадшоу

P. S. В этом письме я решил не останавливаться на одном «маленьком», но не лишенном любопытности совпадении. А именно — что точно в то же время, когда погиб московский Михаил Иванович, его более удачливый тезка пребывал примерно в том же месте близ Каминьи и... весьма возможно занимался тем же делом, а? Но не будем умножать совпадений, рискуя опять же свести две безусловно разные личности к одной. На вашем месте я бы не стал заострять внимание Эбера на этом факте, дабы этим не предубедить чрезмерно его ответ на наш главный вопрос.

Дж. К.-Б.

Квинт позвонил в три ночи и сообщил, что Эбер — единственный и еще не такой уж старый человек, связанный с Михаилом Ивановичем в тридцатые и начале сороковых по той линии, — нашелся. Хотя... «Хотя что?» — простонал я в холодном поту, полубезумный от страха и с обрывками последнего сна в мутной голове. Квинт объяснил, что,

по сведениям, полученным им от его троюродного дяди Оскара по прозвищу «Бош», Эбер — ипохондрик и мизантроп, живет километрах в ста от Мюнхена, никого не принимает и держит страшных овчарок, буквально рвущих в клочья непрошенных посетителей. Недавно одна чуть не насмерть искусила его собственного адвоката, и Эберу пришлось заплатить тому 80 000 марок отступного, чтобы не доводить дело до суда. «Значит, у Эбера есть деньги?» — «Это тоже неизвестно. Дядя Оскар подозревает, что в общем их у него нет, но они появляются, когда случается что-нибудь экстренное». — «А оно с ним часто случается, это экстренное?» — «Этого я не знаю, но думаю, что твой приезд к нему окажется именно таким случаем». — «Хорошо, пусть меня тоже искушает его собака за 80 000 марок. Мне очень нужны деньги». — «На это лучше не рассчитывать и смотри, как бы тебе самому не пришлось платить деньги, чтобы выпутаться из какой-нибудь неприятной истории, связанной с твоим посещением Эбера. Но имей в виду, что он уже сказал дяде Оскару, что будет весьма рад тебя видеть в Эльсхейме — так называется его имение — послезавтра к ужину. Не позже семи тридцати. Фрак или смокинг — необязательны. От станции надо идти шесть километров пешком, так что добавь час с четвертью. Машину за тобой он прислать не может, так как в этот вечер его дворецкий и шофер (если это не одно и то же лицо) — оба выходные, а сам он будет занят приготовлениями к ужину.

«У тебя гениальная память, — поздравил я Квинта, ежась под лавиной обрушившейся на меня информации. — Поблагодари от меня дядю Оскара и продолжай спать». — «Я еще и не начинал спать. Дядя позвонил мне из Бонна полчаса назад, и я решил сразу же позвонить тебе, пока все это помню».

Отчего это дядя Оскар вздумал звонить в третьем часу ночи, напоминая о вещах, полузабытых и ждавших полного забвения лет эдак тридцать пять? Не было ли в этом запоздалого предьявления счетов безымянным должникам? Если и так, то пока я откупился тремя часами блаженного утреннего сна. Посмотрим, чем будут кормить в Эльсхейме?

Не знаю, был ли последний вопрос написан на моем лице, когда день спустя я проходил через паспортный контроль мюнхенского аэропорта. А если и был написан, то вряд ли правильно прочитан двумя сотрудниками службы безопасности, предложившими мне поднять руки и не двигаться. С восторгом! Но один из них, словно не понимая моей полной готовности подчиниться высшей необходимости закона и порядка, тут же заломил мне руки за спину и защелкнул на них наручники. Другой же на вполне понятном английском уведомил меня, что если я хоть пальцем пошевелю, то горько пожалею о том, что родился, и потом еще не раз буду жалеть об этом. На это я отвечал, что он мне живо напоминает тролля, родившегося в результате пяти поколений гомосексуального инцеста, и что имеется известный лейпцигский комментарий на Младшую Эдду, содержащий описание этого феномена. К этому я добавил, что, хотя и комментарий, и Эдда были написаны задолго до разделения Германии на восточную и западную, следы этой прискорбной дегенерации троллей наблюдаются в их потомках по обе стороны границы по сию пору. Трудно сказать, чем могла бы окончиться эта этно-генетическая дискуссия (вокруг собиралась толпа любопытных), если бы не неожиданно появившийся коренастый пожилой джентльмен в блейзере и с атташе-кейсом подмышкой. Едва взглянув на двух моих бульдогов, он бросил мне, что вынужден меня задержать для

более тщательной проверки моих документов и... идентификации моей личности. Моей? Уж не думают ли они, что меня — два? Или — ни одного? С содроганием вспомнив о зловещем предостережении Квинта позапрошлой ночью и решив, что уж лучше бы меня, пусть бесплатно, укусила Эберова овчарка, я грустно побрел за полицейским франтом в другой конец зала для прилетающих.

Сорок битых минут я сидел на высоком вертящемся табурете, пока они меня сличали с бесчисленными фотографиями, арабских террористов, должно быть. Ни единого вопроса или даже звука с их стороны. Вдруг я заметил, что пожилой франт открывает мой паспорт и аккуратно выкладывает на стол заложенные в нем билет и бумажку с телефоном и адресом Эбера. Выражение его лица изменилось настолько резко, что можно было бы подумать, что он обнаружил фотографию своей последней любовницы с нежной надписью мне. «Вы, э-э, вы... давно знакомы с господином Хюбертом, господин доктор?» — «К сожалению, у меня нет возможности обсуждать с вами хронологию моих знакомств, господин инспектор». Франт исчез через маленькую дверь в глубине комнаты и, вернувшись через две минуты, протянул мне мой паспорт: «Господин Хюберт будет ждать вас на станции ровно без четверти семь. Извините, пожалуйста, за причиненное беспокойство. Всего доброго, господин доктор». — «Нет, — твердо сказал я, — нет и нет, мой дорогой инспектор. Даже если мне повезет с автобусом, я уже никак не успеваю на этот проклятый поезд, и при всем моем нежелании причинить вам беспокойство я вынужден категорически настоять на том, чтобы ваши люди сейчас же отвезли меня на вокзал. Иначе мне придется отменить наш ужин с Эбером».

Моим зловещим предчувствиям не суждено было сбыться, так же как и мечтам быть покусанным овчаркой. В огромном подвале, превращенном в охотничий музей Эльсхейма и освещенном гигантским восьмисвечником, я сидел, вытянув ноги под несколько напоминающим гроб дубовым столом (ужин через двадцать минут здесь же), с трудом удерживая в обеих ладонях тяжеленный граненый фужер с местным брандвейном. Я его спросил напрямик (как меня инструктировал Джон в своем письме): «Зачем вы оказались в Каминье зимой 1940-го?» — «А зачем вы оказались здесь, у меня в Эльсхейме, сейчас, осенью 1989-го?» — «Чтобы узнать, что произошло в Каминье зимой 1940-го». — «Этим вы сами и ответили на ваш вопрос — я тоже хотел узнать, что произошло, произойдет, или может произойти в Каминье зимой 1940-го». — «Но не думаете ли вы, господин Эбер, что я к вам приехал, чтобы самому отвечать на свои же вопросы?»

Эбер легко поднялся из-за стола, долил себе брандвейна, зажег сигарету от свечки и сказал: «Стоит поехать в Мозамбик, на Мадагаскар, куда угодно — а не только в Эльсхейм, — чтобы мочь ответить на свои собственные вопросы. Но не хочу быть грубым с новым гостем («Что вы, помилуйте, мне — одно удовольствие!»). Нет доли незавиднее, чем быть орудием чужой судьбы, но если ничего другого не остается, то приходится довольствоваться и этим, хотя чаще всего мы служим таким орудием и не знаем об этом. Надеюсь, господин профессор, что вы приехали ко мне в качестве орудия вашей собственной или ничьей судьбы, но не моей, во всяком случае. Ибо мне пора уже собираться — холодная дорога, одинокий путь».

Он отпил из фужера и, жестом предложив мне сделать то же, стоя, начал.

Рассказ Эбера

В начале зимы 1940-го я узнал, что некто по имени Михаил Иванович, по непростительной небрежности замешкавшись в Саарбрюкене, оказался под непосредственной угрозой ареста и неминуемого расстрела. Этого человека я знал по краткому его и своему пребыванию в Бергене, в 1931-м г., где он успешно скупал задешево (была депрессия) грузовые пароходы, чтобы через три года еще более успешно перепродать их втридорога своим заморским клиентам. Мне было тогда двадцать лет, и я проводил в Норвегии свои первые студенческие каникулы. Узнав, что я изучаю романские языки, он меня попросил перевести несколько деловых писем с испанского и португальского и щедро заплатил за эту для меня крайне легкую работу. Мы быстро подружились, насколько это позволяла разница в возрасте, жизненном опыте и образовании, — кажется, что испанский и португальский были единственными западноевропейскими языками, на которых он не говорил и не читал. Недели через три после нашего знакомства количество писем для перевода увеличилось настолько, что он поселил меня в своем отеле и буквально завалил работой, добавив к этому еще и исправление и переписывание его собственных немецких писем. Однажды, примерно за неделю до моего возвращения в Лейпциг, он постучался ко мне в номер около трех ночи. Не снимая плаща и шляпы, присел на край постели и необычно для него взволнованно и даже несколько невнятно стал объяснять про какое-то неотложное дело, требующее его срочного отъезда в Торнио. Бросив на ночной столик пачку писем, он попросил меня ответить на них самому в его отсутствие. «Помилуйте, — взмолился я, — но я же не в курсе дела! Я могу перевести только то, что вы сами напише-

те». На что Михаил Иванович еще более взволнованно стал меня уговаривать, что, дескать, ну давайте сделаем эксперимент, ответьте хоть на то, что сами поймете. Попробуйте сделать это интуитивно — ошибка и неуспех попытки будут на его совести и ответственности. Не дожидаясь ответа и уже направляясь к двери, он вдруг резко обернулся и совсем другим тоном бросил, чтоб я не забыл сделать копии моих ответов и вместе с письмами оставил их на его письменном столе. Он их прочтет первым делом, когда вернется.

На следующий день я проработал до ночи, не вставая из-за стола, и еще через день отправил все с первой почтой. На четвертый день он появился к завтраку, присел за мой столик, спросил кофе и сказал, что моей работой он очень, очень доволен. Что в четырех из шести ответов я проявил просто незаурядную деловую интуицию, совершенно не зная сущности дела (речь шла о портовом простое и о задержке с уплатой денег за ремонт судов), а в двух очень удачно выкрутился, опять же проявив способность к интуитивному схватыванию совершенно мне неизвестной ситуации. Затем он положил рядом с моим прибором конверт с деньгами (фантастическая сумма, которой мне хватило на два года) и спросил, что я обо всем этом думаю. Когда я, смутившись, стал бормотать о моей благодарности ему и о том, что я вряд ли когда-нибудь рискну пойти на подобного рода авантюры, он весьма типичным для него изящным жестом меня оборвал, выпил залпом свой кофе и сказал, что, пожалуй, на *настоящий* разговор времени нет, но что со мной ничего не произошло. Решительно ничего. Просто молодому человеку представилась возможность заработать немного денег, как, впрочем, и ему тоже. Такие ситуации — не для вникания. Они су-

ществуют только на поверхности. Глубину они могут обрести лишь при переживании их «мною».

«Сущность дела, — продолжал Михаил Иванович, — вот что всегда останавливает мысль начавшего мыслить человека. Сущности дела — нет. Есть дело. Есть твоя неповторимая ситуация, из которой надо выйти по возможности живым и предпочтительно с честью — чтобы перейти к следующей. И так дойти до своей смерти, которая тоже — ситуация и, думаю, не последняя. Не так ли, *der Alte*? Вы обнаружили исключительную способность *стать* ситуацией, до того полностью вам неизвестной, чему немало способствовало именно ее *не-знание*. Знание сущности дела сразу же ставит вас в положение одного из участников ситуации, предубежденного и пристрастного. Интуиция делает вас всей ситуацией со всеми ее участниками, сторонами и обстоятельствами». Он говорил долго и все время курил и пил кофе. Говорил о страшных вещах, которые были и будут снова, об ужасе, лжи и отчаянии, которых не надо бежать, но которыми не надо становиться. «Для человека с вашей природной способностью интуитивного проникновения, — заключил он, — главное — это правильно *выбрать* ситуацию, то есть выбрать *свою*, а не чужую, не другого или других. И пошлите к черту вашу романскую филологию, *der Alte*. Она вам ни к черту не пригодится. Просто выучите десяток языков и подумайте над десятком вещей, а там сами увидите, как *ваше* придет к вам само». Еще он сообщил мне нечто о двух *особых* вещах, о чем не велел рассказывать никогда и никому, даже ему, Михаилу Ивановичу, если он сам об этом забудет когда-нибудь. Потом он вырвал листок из маленького блокнота, написал на нем три имени, адреса и телефона и сказал, что через этих лиц я всегда смогу его найти, если случится в том нужда.

Это — первая половина моего рассказа.

На ужин был какой-то мне доселе неизвестный рыбный суп, густой, с травами и специями, и окорок дикого кабана с соусом из меда и брусники. Принесли кофе, и он продолжал.

История нескольких последующих лет моей жизни как таковая просто неинтересна. Единственное, что стоило бы упомянуть, говоря об этих годах, — это то, что раз возникшая во мне полная убежденность в истинности сказанного Михаилом Ивановичем оставалась со мной и никогда не ушла. Но и это вполне объяснимо крайней восприимчивостью очень молодого человека, с которым еще никто так не говорил. Но какими были эти годы, дорогой профессор! Коллективный энтузиазм и индивидуальное отчаяние, преступная решимость одних и позорная нерешительность других, упоение властью и восторг подчинения власти — вот с чем любой ценой, вплоть до цены жизни, было необходимо себя не отождествлять. Банально, но в 1934-м г. молодой человек с таким умонастроением чувствовал себя на необитаемом острове. Не будем, однако, забывать, что еще пять-шесть лет, и самый необитаемый из островов покажется Эдемом многим обитателям Европы.

Он появился без вызова с моей стороны, в кафе напротив главного входа в университет в Лейпциге, присел к моему столику, спросил себе кофе и коньяку и, не ссылаясь на наш последний разговор, равно как и на обстоятельства, сведшие нас в Бергене три года назад, осведомился, не собираюсь ли я переждать шторм в его эпицентре, так сказать, где вроде бы поспокойнее — «Не так ли? О, не будем становиться догматиками, *der Alte*. Увы, наши с вами отношения не более чем обрывочные разговоры, и такими они обречены оставаться до кон-

ца. Стена Неведения — неразрушима, ибо не нами возведена, хотя и вполне соответствует тому, что мы есть, и отвечает самым нашим заветным помыслам, не так ли? Подозреваю, что мир был сотворен по правилам (о, там были правила, уверяю вас!) совершенно иным, нежели те, по которым он жил после сотворения. Со времени сотворения стоит эта стена между живыми и мертвыми, видимая только для тех очень немногих, кто, еще живя среди живых, желает узнать загадки мертвых. Но проходить сквозь нее умеют лишь те единицы, которые знают, что знание, полученное там, здесь неприменимо. Так что, *der Alte*, хотя я точно знаю, что из моих семнадцати перепроданных норвежских пароходов по крайней мере одиннадцать пойдут на дно вместе со всем их грузом и экипажем, я не стану, как честный сумасшедший, орать на весь Берген, предупреждая честных нормальных людей о грозящей им опасности. А, сомневаетесь? Если хотите, я сейчас запишу для вас порты их будущей приписки и номера Ллойдовского Регистра этих судов. Не хотите? Я тоже не хочу. Давайте не вмешиваться в чужую жизнь, да и в свою тоже».

Кофе стыл в чашках, а понижающийся уровень брандвейна в оплетенной соломой бутылки грозил прибрежными скалами, мелями и другими опасностями злополучным навигаторам.

Каждое его слово осталось в моей памяти, — продолжал Эбер, — так что не было нужды записывать. К тому же и неписанные правила фирмы, в которой я стал работать и которую с легкой руки Михаила Ивановича назвал эпицентром шторма, не очень поощряли архивные усилия ее служащих. Он еще сообщил мне, что во времена кровопролитных войн, чумы, мора и прочих напастей первыми погибают люди жизни («смерть своих знает!»), но что

и здесь бывают исключения, и он полагает, что окажется одним из них в силу обстоятельств, в которые сейчас не хочет входить. Также — что, хотя он, как уже было сказано, принципиально против вмешательства в чужую жизнь, но что и здесь он вынужден сделать одно исключение, точнее — два. Именно, просит меня присмотреть за его бывшей венгерской любовницей, Нетте Грэсс, чтобы она не погибла, когда расстреляют ее отца Лайоша, и за его нынешней венской, Александрой фон Т. («Вам это будет нетрудно, *der Alte*, а я выбываю с поверхности жизни. Центрально-европейской, во всяком случае. *Лучше* их обеих переправить в Швейцарию или, на худой конец, в Португалию»).

Михаил Иванович встал, и я впервые заметил, что он — в очках. «У вас стало хуже с глазами?» — кажется, это была моя первая фраза за весь разговор. Он спрятал очки во внутренний карман пиджака. «Да, гораздо хуже, хотя, думаю, что на отпущенный мне срок мне их хватит с запасом. Я не хотел бы, чтобы вы обманывались на мой счет, *der Alte*. Я — лазутчик во вражеском стане, но да не будет для меня правой стороны, ибо все, равно правые и неправые, овцы и козлица, так сказать, решительно договорились не ведать, что творят. Я делаю то, что предписано моей судьбой, над которой не могу подняться. Да, кстати, присматривайте за мной тоже, но лучше на расстоянии, без личных встреч, по возможности. Боюсь, что мне здесь придется оставаться до последней минуты». — «Но зачем же до последней?» — «У меня еще есть надежда сыграть мою роль в мною же самим поставленной пьесе, даже если такой случай представится в самую последнюю минуту». — «Смотрите, мой дорогой наставник, не потеряйте очки в эту самую последнюю минуту» (моя вторая и последняя реп-

лика). На это он пожал плечами и, как бы, хотя и не пытаясь меня убедить, но все же и не отказываясь от последнего слова, сказал: «Не беспокойтесь, der Alte, я могу сыграть с закрытыми глазами в пьесе, текст которой ношу в сердце вот уже тридцать лет».

Эбер закурил и откинулся на спинку деревянного кресла. «Ну ладно, — сказал я, — в конце концов, каждый выбирает себе смерть, объективно, я имею в виду, то есть сам он об этом выборе обычно не знает. Он же выбирает себе путь и внутри смерти, так сказать, что и является предметом так называемых «Книг Мертвых», египетской, тибетской и нескольких других, которые и наставляют его на этом пути. То, что вы рассказали о Михаиле Ивановиче, ясно говорит, что он задолго до конца выбрал себе смерть и шел к ней выбранным путем».

Тишина нарушалась только треском поленьев в камине и шипеньем огромных пылающих свеч. Не так просто, не так просто, дорогой профессор, — живо возразил Эбер, — здесь книгами мертвых не отделаешься. Заметьте, он не отождествлял Стену Незнания со Злом, ибо она возникла, очевидно, еще в акте творения. А он не только вел свою войну со злом, но и мстил самому себе за утерянную невинность. Я думаю, что и меня тогда в Бергене он решил «перехватить», чтобы я не сорвался в водоворот общего безумия уже безнадежно испорченным. Но не обо мне разговор. Наш бостонский друг Келлер-Брадшоу не только упрощает его ситуацию, но ее непростительно тривиализирует, представляя все дело в виде какой-то мифологической или магической загадки, имеющей одну разгадку. Но я иду дальше. Полагая — и вполне справедливо, как показывает дальнейший ход событий, — что раз уж приходится обрубить концы, то лучше это сделать наиболее своим образом, чтобы не угодить в об-

щую кашу смерти, он взял клятву с нескольких ближайших своих учеников — *не дать ему умереть вместе со всеми*. «Значит, он боялся?» — «Что за банальнейший вопрос, профессор! Разумеется — боялся. Но не самой смерти, а невыполнения данной им кому-то или самому себе *другой* клятвы». — «Значит, он всегда учил, если у него всегда были ученики?» — «Ну что за банальность опять! Ведь это же то же самое, что спросить: значит, он любил, если у него были любовницы? Да и кто же, по-вашему, был тогда я? Разумеется, и здесь возможны разные оттенки и градации, но все ж таки, — ради вашего хотя бы профессорского буквализма — следует признать, что в его случае потребность в учительстве была не менее настоятельной, чем потребность в любви. Но возвращаюсь к клятвам. Он выбрал себе в «помощники смерти» двух своих учеников, бывших меня тремя курсами моложе по тому же Лейпцигскому университету — Ансельма Федермана и Морица Блауведеля. Роль связанного должна была исполнять одна замужняя дама из Льежа, его бельгийская любовница...»

«Мой дорогой Эбер, — наконец не выдержал я, — не объединились ли народы предвоенной Европы в единодушном стремлении удовлетворить физические, ну, и духовные, потребности Михаила Ивановича?»

Эбер, словно не замечая фривольности моего вопроса, очень серьезно возразил: «О, мой дорогой профессор, если бы это было так! О, если бы это невиннейшее из всех возможных, хм, единодушных стремлений разрешилось в одной лишь одинокой смерти нашего любвеобильного негоцианта, то сколько было бы спасено невинных жизней, да и чистых смертей тоже! Но — назад к делу. Оба помощника были выбраны, кроме их абсолютной на-

дежности и полной преданности, еще и по причине их безусловной непригодности к военной службе и, следовательно, большей свободы передвижения. Боюсь, однако, что в случае Ансельма выбор был неосмотрителен, ибо он был еврей. Михаил Иванович не принял во внимание, что как еврей Ансельм не имел права носить оружие, а Мориц был освобожден от призыва из-за частичного паралича правой руки. Может быть, он не подумал об этом из-за своей крайней рассеянности». — «Но он не был в состоянии полной рассеянности, мой дорогой Эбер, когда, покидая университетское кафе в Лейпциге, оставил вам миниатюрный пистолетик в футляре от очков — на память или так, на всякий случай. Но не противоречило ли это правилам места, где вы тогда работали?»

Способность Эбера не замечать иронии собеседника была поразительна. «Ну, ну, — добродушно парировал он мой *tour de force*, — есть альтернативы и альтернативы. Служащим моей фирмы весьма не рекомендовалось иметь на себе огнестрельное оружие. В случае Ансельма, если бы при обыске был обнаружен пистолет, его бы немедленно расстреляли, что, впрочем, никогда бы не помешало ему пойти на риск и весьма охотно. Для Михаила Ивановича запрет на оружие — на любое оружие смерти, включая яд — был полным и безусловным, ибо таков был его обет».

Когда человек хорошо пьян, ему хочется поставить все точки над «i», даже если это «i» — он сам. Насколько пьян был Эбер, я могу судить только по неприлично обнажившемуся, фаллически вогнутому дну литровой бутылки брандвейна. Решение не начинать бутылку предоставленной в мое распоряжение Польской Житной оказалось бессильным перед желанием быть до конца откровенным с Эбе-

ром. «Ты сам его и застрелил, старый черт!» — «Если бы это было так, мой дорогой Александр, то ты бы уже как два часа допивал водку с твоим другом Игорем Смирновым в Мюнхене, в то время как здесь у нас с тобой ночь еще не кончена. Да и водка — тоже».

«Значит, он не мог даже застрелить самого себя?» — уже в отчаянии взмолился я. «Нет, нет, ни под каким видом. Ни себя, ни другого. Фантазия — скажете вы? Нисколько. Просто еще одна частная поправка к действительности. В общем, я все сделал, как он хотел. Отправил двух чертовых баб в Швейцарию. Недотепа-еврею Ансельму еще в 1938-м достал испанский паспорт, но он, видите ли, решил по обету до конца оставаться в том же месте, что и Михаил Иванович, хотя я ему, имбецилу, сто раз говорил, что это «место» скоро так расползется во все стороны, что никакого другого не останется. Не послушался, конечно, и осенью 1940-го угодил в Дахау, откуда я его, едва живого, выцарапал и отправил на грузовом судне в Танжер (сейчас он профессор математической экономики в Стэнфорде). Блауведель оставался моей последней связью с Михаилом Ивановичем. Он-то и сообщил мне, что тот застрял в Люксембурге у своей любовницы Нелли (последней, как показала жизнь, а точнее, смерть). Я бросился из Зальцбурга к нему, через всю Германию, семнадцать часов мотогонки — как у Ремарка в «Трех товарищах»».

«Но позвольте, мой дорогой Эбер, разве это предполагалось первоначальными условиями вашего с ним договора?» — «И да, и нет. Да, потому что он сказал мне следовать за ним до конца, до последнего мгновенья. Нет, потому что он сказал, чтобы я не вмешивался и не нарушал предусмотренного им, если и не во всех деталях, хода собы-

тий. Но, Боже, как это можно было сделать не вмешиваясь! Мчась через эту треклятую Рейнскую область, я молил только об одном: еще застать его там, в Саарбрюкене, и говорить с ним, говорить навсегда, душа с душой, сердце с сердцем. Умолить его объяснить, как можно самому исполнить predetermined, и можно ли вообще это сделать в этом, нами самими устроенном аду. Но, так или иначе, живым я его больше не видел».

Без даты. Там же. Теперь — моя последняя любовь. В рассказе о последнем доме я не сразу узнал свой последний ход в этой книге, да и следующий — в этой жизни. Ход, после которого может быть только *выход* — в другой роман, другую жизнь. Или, сейчас — тебе: в нашу с тобой жизнь, где — как и в еще не написанном вместе с тобой романе — будут не нужны даты и сроки. В жизни мы заменим друг другу прошлое, а в романе попробуем лишить прошлого наших героев. Это будет заменой времени сюжета местом нашей любви.

Глава двадцать первая

Последний дом

Как старший друг он должен был все мне объяснить про эти дома и их обитателей.

Х. Л. Борхес

1991 г. Март. Последний «архивный» рывок человека, который уничтожает систематически свой архив (вместе с чужими письмами ему же, разумеется). Сомерсет-Хауз — столица мира частных жизней и событий, нуждающихся в государственном подтверждении. Елбановский утверждает, что у *его* Михаила Ивановича никогда своего жилища в Лондоне не было, только — отели: как у землемера К. из «Замка» Кафки, из-за «чужести» (его слова). На этом, я думаю, сходство кончается. Землемер был чужой *им*, жителям Деревни перед Заком. Сам он хотел там быть своим. Мой герой себя сам же заранее исключил. Да и этой исключительностью готов был поступиться, когда пришло время сказать «пас» жизни, которую перестал считать своей задолго до конца. И еще одно различие. Землемер спрашивает о Замке, а ему отвечают о нем самом. Михаил Иванович не ждал ответов. Но возвращаюсь к лондонским жилищам. Из шести адресов его или их (его полных тезок-однофамильцев) четыре адреса не существуют, вследствие естественного или преднамеренного (такого, как бомбежки) уничтожения зданий. По пятому адресу жил заведомо *не тот* (то есть не один и уж наверняка не «еще один») Михаил Иванович, бывший в тридцатых довольно известным педагогом-логопедом. Шестой адрес привел меня в северо-западный Излингтон, к огромному блоку только что выстроенных четырехэтажных домов с единственным входом в общий внутренний двор. На блоке не было номера, а ворота были с электронным запором. Я нажал на кнопку с надписью «управляющий» (caretaker), ворота медленно раскрылись, и я вошел в просторный круглый двор, обсаженный елками, с детской площадкой и фонтаном в центре. Двери домов выходили на этот двор, так что ни в один из них нельзя

было проникнуть с улицы. Вокруг не было ни души и пахло сырым цементом, карбидом и свежей краской. Ворота автоматически закрылись.

Появившийся из одной из дверей управляющий сообщил мне, что он — Хуссейн Мир Джагат, что из четырнадцати домов пока проданы только два, но что если меня интересует покупка одного, двух или всех двенадцати непроданных, то он готов мне показать их сам, без агента («только не говорите об этом агенту, прошу вас»). Когда я, несколько смущенный тем, что обманываю его ожидания, объяснил ему, что ищу дом № 19 и что нумерация кончается на одиннадцатом, а потом сразу идет № 23, он очень серьезно посмотрел на меня и сказал, что то, что осталось от номера девятнадцатого, то есть две маленькие комнаты и прихожая, еще не разрушены и, возможно, там и останутся, в узком промежутке между двумя домами, и что тогда там будет жить он со своим братом. «Вы там надеялись застать кого-нибудь из старых жильцов?» — «Да, из очень старых, и давно уже мертвого. Боюсь, что вы еще не родились, когда он умер». Я протянул ему бумажку с именем. «Вы ошибаетесь, я уже давно родился, когда он умер. Он был русский?» — «Безусловно». — «Высокий и худой?» — «Несомненно». — «Я прекрасно его помню. Отец снимал подвал в соседнем доме, снесенном лет уже двадцать назад. Русский джентльмен появлялся очень редко, раз в два-три месяца. Всегда на такси, с тростью и портпледом. Больше никакого багажа. Проводил здесь обычно день-два и исчезал до следующего раза». — «Здесь никто без него не жил?» — «Ни без него, ни с ним. Да и вообще, эта квартира ему не принадлежала. Он ее снимал у одного музыканта, тоже русского». — «Вы не помните фамилии владельца?» — «Подождите».

Мир Джагат исчез и появился через две минуты с большой нотной тетрадью. «Он оставил это для моего брата. Здесь — имя». На заглавной странице этюдов Черни я увидел: Ex/Libris Ya. I. Zaitsev. Теперь — к моим старым друзьям Зайцевым, на Мазвел-Хилл!

Вечером того же дня я сидел в гостиной с голубовато-серебристыми обоями и камышовыми креслами в холщовых чехлах. Не нужно мемориальных дощечек: на этом кресле в углу сидел молодой Орлов, а на этом — Георгий Иванович (к его приезду мы всегда покупали арманьяк). А там у окна — Яшенька Хейфец, никогда ничего не пил. А на диванчике — Натан Мильштейн и Шура Черкасский. Для Якова Ивановича и Софьи Бертольдовны гостиная заселена веселыми духами живых, а не тенями мертвых. «А где же сидел Михаил Иванович?» — спросил я после второго стакана чая (они пьют чай с бутербродами днем, вечером и ночью). «Он сидел только за фортепьяно. Даже когда не играл. Он любил приходить, когда никого других не было. Специально Сонечку об этом просил. Раз пришел, а на фортепиано Большая Соната Шуберта. Он стал играть, а тут Гизекинг великий явился неожиданно. Сидел, молчал, прослушал до конца, а потом подходит к Михаилу Ивановичу и говорит, что, мол, как это я вас никогда не слышал, вы, наверное, в Европе редко концертируете. Мы все до слез смеялись. А иногда просит меня принести Лебединого или Щелкунчика клавиры, и так часов до двух ночи и играет».

Мне безумно не хочется задавать новых вопросов — да ведь они все давно старые. Я даже себя не спрашиваю, почему, зная Зайцевых пятнадцать лет, ни разу не спросил у них о нем. Просто — не случилось. Я целую ручку Софье Бертольдовне, за-

пахиваю свой дождевик, обещаю быть к чаю на следующей неделе, в следующий месяц, на следующий год. Буду, конечно. Я схожу по ступенькам из сада, вниз на Мазвел-Хилл, а оттуда направо, вниз к Хайгейту. Нет, видимо, больше о нем ничего не спросишь. Да и не о чем. (Тема искупления замерла в конце века, как тема предательства в его середине.)

Глава двадцать вторая

**Я не предавал иностранный
легион**

О нет, даже и не начинайте уговаривать меня, что я не прав, что надежды нет ни в чем, и что я так и останусь здесь с вами навсегда!

Р. Л. Стивенсон

1993 г. Сентябрь. «Я, Симон Долин, пришел вас увидеть, — сказал на крайне плохом (хотя, возможно, ему было еще далеко до края) русском невысокий, плотный и очень загорелый человек. — Я не стал предупреждать мой визит к вам звонком из нежелания рисковать отказом. Вместо того я позвонил в ваш колледж, узнал время лекции и появился в вашем кабинете сразу же после ее конца, полагая, что вы вернетесь сюда хоть на короткое время, даже если затем вам будет необходимо уходить».

Он снял легкий серый пиджак и повесил его на спинку стула, но сам не сел.

— Садитесь, пожалуйста, Симон, У меня есть время, но даже если бы его у меня не было, ваша оперативность, столь необычная среди нынешних молодых людей, заслуживает немедленного поощрения. Словом, я весь к вашим услугам.

— Оперативность у меня профессиональная, но про это после. Я — как бы это идиотически ни звучит — незаконный внук Михаила Ивановича...

— (Которого из двух? — подумал, но не спросил я).

— ...то есть, собственно, незаконный вдвойне, поскольку являюсь незаконным сыном его незаконной дочери и одного сумасшедшего шведа, утонувшего в Финском заливе во время прогулки на своей самодельной подводной лодке. На русском я Семен Долин. Мне тридцать шесть лет. Когда мне было двадцать четыре, я поступил в Иностраннный легион, где прослужил пять лет. Оперативность — оттуда. Я дрался в Центральной и Северо-Восточной Африке, на Мадагаскаре и в некоторых других районах. Потом я дезертировал и учился под чужим именем в Консерватории Парижа в классе гобоя (я также приличный фаготист), но не закончил клас-

са, поскольку оказалось, что за мной следили и захотели меня арестовать, но...

— О Господи...

— ...это была совсем идиотская операция, если вы себе представляете, что два вульгарных ажана, даже не из полевой жандармерии, приходят арестовать *легионера*! Я себе давал слово их не трогать, чтобы потом не было новых юридических осложнений, и весьма аккуратно положил их рядом на постели очень спокойно, однако совсем случайно выбил одному два зуба фаготом, когда он не хотел, чтобы его привязывали, и...

— О! (Я уже начал уставать удивляться.)

— Пришлось немедленно удаляться, не имея в руках ничего, кроме гобоя и фагота. Тогда я быстро переехал на родину, в Швецию, где жил у мамы и заканчивал консерваторию в Стокгольме, но взял еще валторну, чтобы было три духовых инструмента. Я уже боюсь, что вам надоел. Буду кончать сейчас. О вашей работе над биографией Михаила Ивановича (это роман, умоляю вас, роман!) мне рассказывал кавалер моей мамы. Он вас видел, когда вы приехали в Стокгольм. (Я понял, задним числом, что речь идет о друге его матери, являющемся кавалером по шведской дворянской иерархии.)

— Вы с ним близки?

— О да, я могу с ним бесконечно разговаривать. Я помогаю ему в его Ордене, иногда играя на органе, хотя я не очень хороший органист.

— Вы член Ордена?

— Ну, говорить так будет некорректно. Возможно квалифицировать меня как новичиата. Кавалер мне рассказал, что этот Орден и Михаила Ивановича — один и тот же.

— Но к чему вам Орден? Кроме, конечно, гипотетических ассоциаций с незаконным дедом. Но ведь это несерьезно.

Я начал чувствовать легкое раздражение сродни тому, которое иногда чувствую, разговаривая с моей старшей дочерью, его ровесницей. Он попросил разрешения закурить и медлил с ответом, глубоко и резко затягиваясь Житаной. Затем, словно решившись:

— Вам не будет неудобно со мной разговаривать на английском? Все-таки русский язык у меня плохой.

— Да помилуйте, конечно нет.

— Ну и прекрасно (как если бы заговорил другой человек!). Вы сейчас сказали «гипотетические ассоциации» и «несерьезно». Это — именно так и есть. Для меня все гипотетично и, если хотите, несерьезно. Вы задали мне этот вопрос как человек, который выбирает из нескольких гипотез одну, потому что считает ее истинной или, по крайней мере, более истинной. И это во всем — в науке, философии, жизни. Я же, выбирая одну — хотя бы и ту же, что выбрали бы вы, — знаю, что она столь же гипотетична, как и все остальные, и что единственным основанием выбора было мое *желание*, которое уже никак не обязательно ни для кого, кроме меня, да и то, пока оно остается. Но пока оно остается, оно для меня так же серьезно — или, с вашей точки зрения, несерьезно, — как ваше убеждение в истинности основания вашего выбора. Не можете же вы *серьезно* думать, что я завербовался в Иностраннный легион потому, что серьезно считал его миссию в Африке справедливой? Боже милостивый! Да такого кретина даже в наш идиотский Легион не взяли бы.

Я смирился с поражением и стал делать кофе. Раздражение прошло. Стало даже немного смешно. И стоит ли расспрашивать о матери, вернее — о бабке?

— Моя бабка Лилли, ее настоящее имя — Марина Андреевна, эвакуировалась с англичанами из Мурманска в самый последний день. Потом она осела в Бергене, кажется, где стала преподавать французский.

— Но тогда, это — другой... (Это опять про себя.)

— Он тогда, кажется, занимался там перепродажей пароходов. Там они и встретились. Мама говорит, что прекрасно его помнит, что, по-моему, или гипотеза, или, скорее, иллюзия памяти. Скажите, а он тоже верил в одну истину?

— Безусловно. И в честь. И в бесчестье. И в верность. И в предательство. И в безнадежность. И в искупление. Но я вас не собираюсь вербовать в адепты скомпрометированной морали начала века. Тем более, что сам я — где-то посерединке между ним и вами.

Я дал ему три главы из второй части (тогда единственные перепечатанные), и он ушел, пообещав прийти через неделю.

Раздражение вернулось. Он принес с собой новую невыясненность, но его не хватило на ее выяснение. Его декларация о гипотетичности желания — не факт самосознания, а отчет о факте. И вообще, так получается, что убить (или, по крайней мере, выбить зубы) тебя могут, как и раньше, в любой момент, но — без проблемы жизни и смерти, а — так, между делом.

Этот его первый виденный мною внук, никогда им не виденный, был ему чужой, чужой такой космической чужестью, которую не преодолеть и за миллион световых лет. А ведь идет (ездит, летает, плывет) по его, деда (?) следам, и туда же — Швеция, Франция, Африка, Мадагаскар, даже Лондон. Сыновья, Иван, Петр — неосознавшие себя имитаторы трагического оригинала. Его внуки — да, черт

возьми, не все ли равно *кого* его! — епископ-фундаменталист, фотограф-дизайнер, музыкант-дезертир: здесь, конечно, возможна большая определенность. Но определенность *чего*? Я, захотевший развязать этот чертов узел, еще туже его затянул, сам не знаю, как теперь развязаться. Да и кто его завязал — он или я сам? (А она говорит, какой же ты дурак, смотри на это как на простую работу, ведь роман пишешь, а не новую гипотезу Канта-Лапласа. Но торопись, пока ты еще тот, кто столько лет назад его начинал, а то будет поздно, придет другой, кто не сможет написать конец, так как не узнает себя в писавшем начале. Дописывай, как он когда-то свои балетные рецензии, кратко и просто! — Нет, моя ненаглядная, так не уходят от поражения.)

Я окончательно поверил в гипотезу парности мировых событий, когда на следующий день мне позвонил молодой человек и очень веселым голосом сообщил, что его зовут Саша Винский и что он — *мой* незаконный двоюродный племянник. Что он впервые в Лондоне и не может уехать, не повидав меня (приехать-то смог!). «Не двоюродный, а троюродный, — с удовольствием поправил его я, — и не племянник, а брат. И вообще, ты, случайно, не служил в Иностранном легионе?» — «Нет, — с изумлением отвечал Сашенька (так его шепотом называли глубоко шокированные родичи), — но я отслужил два года на погранзаставе на Ханга». — «А ты, случайно, оттуда не дезертировал?» — «Ну что вы, дядя Саша (он упорно продолжал называть меня дядей), куда дезертировать? Не в Северную же Корею или Китайскую Манчжурию». — «Но ведь ты же дезертировал бы, если бы было куда?» — «Не знаю, наверное, нет». — «Но не хочешь же ты этим сказать, что у тебя есть честь?» — «Опять не знаю, никогда о ней не думал». — «Ну хорошо, а ты не игра-

ешь на каких-нибудь духовых инструментах и не говоришь ли на минимум четырех языках?» — «Я играю на гитаре, довольно прилично, и еще немного на фортепьяно и неплохо знаю английский. Сойдет?» — «Забегии сегодня ко мне. Я тебе дам часть моего романа, а на следующей неделе придешь сюда ужинать. Будет еще один незаконный».

Его отец, мой двоюродный дядя, Александр Андреевич Левинский, был виртуозом геодезистом и очень хитрым евреем. Последнее особенно ярко проявилось в том, что когда за ним пришли в феврале 1938-го г. в его вагон-салон, стоявший на путях у Ростова-Товарного, то он именно в это время судил матч на республиканское первенство по хоккею с шайбой в Харькове, о чем знала вся Украина, кроме жены в Днепропетровске, любовницы в вагоне-салоне и НКВД. Когда сразу же после матча он рванулся на вокзал, чтобы на скором домчаться до ростовской любимой женщины, то его перед самым стадионом перехватили два майора из свердловского военного округа, почти насильно усадили в машину и увезли на аэродром, а оттуда — на штурмовике в Свердловск, судить матч ЦСКА Свердловск — Динамо Горький по тому же хоккею с шайбой (он был нарасхват). Опомнившиеся чекисты ждали на перроне, даже скорый задержали на полчаса. Что упало, то пропало. Выпав на неделю из украинской юрисдикции, ничего не подозревавший Саша Левинский вернулся в Ростов уже на спаде кампании (была опубликована статья о необходимости более бережного отношения к ценным специалистам). По мнению родичей, он эту хитрость унаследовал от своего отца, раввина Ария Левинского, весь страшный кременчугский погром проспавшего на диване в гостиной у полицмейстера Чертова-Чертянко, после тридцатичасового «Королевского винта».

Черт, вся эта проклятая бывальщина, не ею ли на длинном поводке держит меня непережитое прошлое? Да и такой ли уж он длинный? Все же кончу. Сашенька появился на свет через двадцать лет после описываемого матча, где-то между Абаканом и еще чем-то, у молодой жены начальника дистанции, в то время обучавшегося в Москве на годичных курсах повышения квалификации мастеров пути. «Так мы и живем», — скромно заключил свой рассказ об этом событии его отец, забежавший ко мне выпить чаю во время очередной командировки в Москву осенью 1961-го. Мы! Parlez vous, как любил говорить покойный Юрий Михайлович Лотман. Мы по десять часов в день учим дравидийские языки или бесплодно пытаемся поймать за хвост тень прошлого, в отблесках которого в 1911-м г. родился Саша Левинский, а не ебемся на всех прогонах действующих и проектируемых железных дорог от Петрозаводска до Хабаровска. Мы... Ладно, теперь будем ждать нового Эдвина с впечатлениями от прочитанных глав.

Был ясный, остановившийся осенний лондонский вечер, так похожий на весенний. В Англии погода — это не сценическая условность, а естественное условие, включающее в себя все личное — кроме личного, здесь пока ничего нет — разговор, отношение, покой, тревогу. Мы сидели на кухне у Квинта. Двое незаконнорожденных и двое законных. Трое тридцатилетних и я. Здесь кончалось царство филологии, но действительность или судьба еще не остановила своего выбора на новом кандидате — человеке с улицы или просто философе. Семен и Сашенька говорили о любви. «Я — никто, — заявил Семен. — Моя страсть к женщине всегда от удивления, что она любит вместо меня что-то, о чем я не знаю или знаю только от нее. И не верю в его суще-

ствование, когда ее со мной нет. Поэтому, когда она не со мной, я начинаю сильно пить». — «Я — твой антипод, — весело отвечал Сашенька. — Я точно знаю, кто я и что, но совершенно, ну прямо ни в малейшей степени не знаю ее, ту, кого люблю. Я не очень пьющий, и если пью, то только когда я с ней. Не считая, конечно, таких исключительных случаев, как встреча с вновь обретенным дядей, открывшим мне, что он — мой троюродный брат, и упорно требовавшим от меня, чтобы я был дезертиром, полиглотом и Бог знает чем еще».

Было о чем подумать в сто первый раз. Прошлое, то есть то предпрошлое, которое я всю жизнь делал моим прошлым, было безумной смесью объективностей, выбранных для собственного субъективного употребления, и субъективностей, перенаряженных в объективности, для употребления их другими. «По мне, так лучше предательство — ты, по крайней мере, сам его несешь — чем чистое жульничество», — задумчиво произнес Сашенька. «Ну, это как на чей вкус, — тоже очень спокойно возразил Семен. — Но я, я не предавал Иностранный легион».

Поздним вечером у Зайцевых. Я допиваю последний стакан чая. Для меня еще есть маленькая рюмочка арманьяка. На этом витке все — тише. Я гляжу в раскрытую дверь балкона, как на террасу Отель Империяль в Монако. Михаил Иванович (этот, а не тот, с черепом, простреленным в северной Португалии) играет большую сонату Шуберта. Гипотетический внук подыгрывает ему на гобое. Уже давно можно не метаться меж разрушенных домов в поисках его последнего лондонского прибежища. Теперь он надолго обосновался на Лазурном Береге.

Содержание

Предисловие о временах	9
Предупреждение об именах	13
Заключение о временах и именах	21
Часть первая	
Это время	27
Глава первая	
Для самого себя	33
Глава вторая	
У кузена Кирилла	47
Глава третья	
Визит к Алеше	63
Глава четвертая	
В простых местах	75
Глава пятая	
Теория двойника	95
Глава шестая	
Вечер с Авербахом; успешная попытка движения	107
Глава седьмая	
Дачная сцена	117
Часть вторая	
То время	139
Глава восьмая	
Веселая тень будущего	145
Глава девятая	
Хорошее и глупое время поэта	167

Глава десятая	
Победа никогда не была нашей	195
Глава одиннадцатая	
Интерлюдия с Наумом	207
Глава двенадцатая	
Здравствуй и прощай	225
Часть третья	
Человек без времени	239
Глава тринадцатая	
Прелюдия о сдаче	245
Глава четырнадцатая	
Потеря походки	253
Глава пятнадцатая	
Выход из игры	273
Глава шестнадцатая	
Чужая жизнь	299
Глава семнадцатая	
Квинт и я в июле 1989-го	307
Глава восемнадцатая	
Квинт в августе	321
Глава девятнадцатая	
Время позднее	331
Глава двадцатая	
Еще один Михаил Иванович	345
Глава двадцать первая	
Последний дом	373
Глава двадцать вторая	
Я не предавал иностранный легион	383

Пятигорский А.

Вспомнишь странного человека... Роман. М.: Новое литературное обозрение, 1999. - 399 с.

Новый роман известного философа и культуролога, автора получившего широкий резонанс романа "Хроника одного переулка". В прозе А. Пятигорского сочетается парадоксальность художественного мышления и глубина психологического анализа, социальная зоркость и своеобразная художественная историософия, интеллектуальная рефлексия и проникновенный лиризм.

Александр Пятигорский
Вспомнишь странного человека...

Художник *А. Гольдман*

Корректор *Л. Морозова*

Верстка *В. Дзядко*

ООО «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:
129626, Москва, а/я 55
тел. (095) 976-47-88
факс (095) 977-08-28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru

ЛР № 061083 от 6.05.1997

Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Объем 12,5 п. л.
Отпечатано с оригинал-макета
в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6. Заказ № 542

ISBN 5-86793-060-2



9 785867 930608

